

ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН



077
13287

С.ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА



Любовь в эпоху перемен

Юрий Поляков

Красный телефон (сборник)

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Поляков Ю. М.

Красный телефон (сборник) / Ю. М. Поляков — «Издательство АСТ», 2019 — (Любовь в эпоху перемен)

ISBN 978-5-17-112367-3

В третий том собрания сочинений известного русского писателя Юрия Полякова вошли его знаменитый «Козленок в молоке», признанный одним из самых остроумных романов отечественной словесности, и повесть «Небо падших», которую по праву считают самой пронзительной «историей любви» рубежа веков. Повесть дважды была экранизирована. Новелла «Красный телефон», давшая название третьему тому, является своеобразным дополнением к «Небу падших», развивая тему «любовь и деньги». В третий том также вошло эссе «Как я варил “Козленка в молоке”», приоткрывающее тайны творческой лаборатории Юрия Полякова.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-112367-3

© Поляков Ю. М., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Козленок в молоке	6
1. Пролог на небесах	6
2. В начале было пиво	11
3. Спор книгопродавца с поэтом	17
4. Простодушный	23
5. Покинутый мужчина	29
6. В поисках утраченного Витька	32
7. Огонь, вода и фаллопиевы трубы	40
8. С кем вы, подмастерья культуры?	47
9. Первый бал Витька Акашина	55
10. Вранье без романа	61
11. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Давыдовичем	66
12. За зипунами	74
13. Как сделать верлибр	79
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Юрий Поляков

Красный телефон

Художественное оформление – *Андрей Фerez*

Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»

Представляет

собрание сочинений Юрия Полякова в 12 томах

Том I. «Сто дней до приказа»

«Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками», «Глава, не вошедшая в повесть», «Как я был колебателем основ», «Неуправляемая», «Как я был врагом перестройки»

Том II. «Парижская любовь Кости Гуманкова»

«Апофегей», «Что такое “Апофегей”?», «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Как я писал “Парижскую любовь”», «Пророк», «Ветераныч», «Демгородок», «Как я построил “Демгородок”»

Том III. «Красный телефон»

«Козленок в молоке», «Как я варил “Козленка в молоке”», «Небо падших», «Красный телефон»

Козленок в молоке

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

«Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо было для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру...»

Н. Гоголь

Из письма М. А. Булгакова И. В. Сталину, 30 мая 1931 г.

1. Пролог на небесах

«Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, тяжело волокущий по воздуху свое мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке...» «Разнотравье» – плохо. В траве... Да, просто в траве! Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова. (Неплохо сказано! Надо бы запомнить.) Пошли дальше. «В иллюминаторе виднелась земля, такая крошечная, что, казалось, отсюда, сверху, можно одним плевком накрыть средний европейский город». Тоже ничего – образно. Но с физиологическим оттенком. Это меня всегда смущает. Попробуйте роденовский «Поцелуй» представить себе в виде интенсивного обмена двух организмов выделениями слюнных желез – стошнит!..

Стюардесса подкатила к моему креслу уставленную бутылками тележку и великодушно предложила на выбор: лимонад – даром, алкоголь – за валюту. От нее прямо-таки разило парфюмерией. Помимо этого, девушка тщательно демонстрировала свою вызубренную в школе стюардесс улыбку, которую, очевидно, перед сном она вынимает изо рта и кладет в стакан с водой, как пенсионер – вставную челюсть. Это тоже надо бы запомнить. Профессия литератора очень напоминает первобытное собирательство. Вырвал корешок, надкусил. Горько – сплюнул и выбросил, вкусно – сунул в торбочку и дальше побрел.

Вот о каких пустяках я думал, даже не подозревая, что он уже рядом и собирается меня убить или в лучшем случае изувечить...

Я взял сто «Смирновской» и порцию оливочек, фаршированных анчоусами, – на закуску. Долгое время я полагал, что анчоусы – это нечто вызывающе растительное, но оказалось – просто рыбки, наподобие килек. Я заплатил пять долларов, получив вместо сдачи все ту же вставную улыбку. Ерунда! Такие расходы я теперь мог себе позволить, потому что возвращался из Катаньи с гонораром, которого мне должно хватить на полгода скромной жизни.

Собственно говоря, эти полгода я собирался провести за письменным столом, чтобы наконец закончить повесть о партийном функционере, оказавшемся жутким вампиром и по ночам пробиравшемся в сектор учета своего райкома, чтобы, контактируя с фотографиями, наклеенными на учетные карточки, пить биоэнергию из ничего не подозревавших рядовых коммунистов. Улетая на Сицилию, я остановился на том, что, лакомясь одной привлекательной кандидаткой в члены КПСС, он – по фотографии – влюбился в нее без памяти и, чтобы познакомиться поближе, пришел ей персональное дело... Что случится дальше, я представлял себе очень смутно, а заканчивать вещь нужно срочно, иначе будет совсем поздно: все издательства просто завалены беллетризованными поношениями предшествующего режима, ибо это единственное, чем сегодня может прокормиться честный, но не упорствующий в своих принципах писатель. Время, когда можно было заработать на пионерских приветствиях, безвоз-

вратно ушло, а написать нечто стоящее или, как я выражаюсь, «главненькое» мне не удалось и уже никогда, наверное, не удастся... Но жить-то надо!

Если же быть совсем откровенным, то повесть у меня застопорилась задолго до того, как я улетел на Сицилию, на этот дурацкий день рождения, вылившийся в конференцию по обмену опытом между отечественными и итальянскими мафиози. Ведь с повестью – как с женщиной: если ты, обнимая ее, думаешь о другой, разрыв – просто вопрос свободного времени. Сочиняя эту чепуху, я чувствовал себя мерзавцем, который изменяет своей невинной, как свежий гигиенический тампон, невесте с привокзальной цыганкой. И вот однажды, проснувшись утром, я почувствовал, что ненавижу все: сюжет, героев, пишущую машинку, себя... Я ненавижу эту мерзкую, задышливую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желаний для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное, базисное свинство бытия: осуществить мечту можно только за счет тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за жизнь. Замкнутый круг. И разорвать его невозможно. Почти... Тех, кому это удалось, можно сосчитать по пальцам. Костожогов, к примеру... Впрочем, пример неудачный: жизнь его в конце концов все-таки сожрала, схарчила, схрумкала. И не подавилась, скотина! Нет, мир стоит не на слонах, не на китах и даже не на быках. Мир стоит на трех огромных свиньях, грязных, смердящих и прожорливых...

Единственный раз в жизни у меня был шанс разорвать этот проклятый круг, но я воспользовался им, как дуралей, который по счастливой случайности выпустил джинна из бутылки (именно из бутылки!), а на громовой призыв: «Спрашивай чего хочешь!» – спросил: «Который час?»

Итак, повесть о вампире застопорилась. Я целыми днями маялся на диване, пытаюсь вдохновиться чтением разной там нобелевской и бейкеровской графомании, – начинаешь возмущаться: мол, они и писать-то не умеют, а им еще и премий понадавали! Это иногда помогает вернуться (в знак протеста) к письменному столу и, стуча по клавишам, мстить, мстить, мстить. Но на сей раз даже чтение тошнотворного Сартра не помогло. Иногда я вставал, подходил к пишущей машинке, постыдно износившейся от многолетней моей литературной халтуры, тыкал в какую-нибудь букву и испытывал отчетливое желание расколотить эту клавишную шмару о стену моего кабинета, служившего одновременно спальней, столовой и гостиной. Муки творческого бесплодия дополнялись еще и тем, что денег – а я держу их в прикроватной тумбочке – становилось все меньше и меньше. Я даже уже не заглядывал в тумбочку, а просто, приоткрыв дверцу, нашаривал рукой несколько бумажек и спускался в магазин, чтобы купить чего-нибудь пожрать, – чаще всего пельмени – их просто нужно высыпать в кипящую воду и не упустить момент, иначе они развариваются до лохматого бульона, в каковом, если верить науке, некогда и зародилась жизнь. Впрочем, сам я считаю, что жизнь – это всего-навсего экскремент Абсолютного Духа.

Наступил день, когда, пошарив рукой в тумбочке, я обнаружил там полное отсутствие надежд на очередную пачку пельменей. Тогда я подошел к столу, ткнул пальцем в клавишу и, не совладав с собой, метнул машинку в стену, оставив там самый глубокий след за все годы моего пребывания в этой квартире. Интересно, что удар пришелся точно в коричневое пятно на обоях, похожее по форме на Апеннинский полуостров с Сицилией и появившееся на стене давно, очень давно, еще до моего бегства в Семиюртинск. Удар пришелся, между прочим, как раз в то место, где, по всем географическим приметам, должен находиться город Катанья. Теряя металлические и пластмассовые фрагменты, машинка рухнула на пол, и тут же по батарейным трубам донесся возмущенный стук нижнего соседа, парализованного старичка. У него действует только правая рука, и он энергично пользуется ею, чтобы выразить свое негодование, если в моей квартире раздается шум. Интересно, что, когда у меня бывала Ужасная Дама, кричавшая во время предварительных ласк так, словно ей без наркоза удаляли аппендикс, лукавый паралитик никогда не колотил по трубам отопления.

Таким вот образом я остался не только без денег, но и без средств производства. Конечно, эпиграммушечки можно было сочинять и без машинки, на память, но спрос на них после прокатившихся по Москве террористических разборок упал до нуля, и я снова оказался в такой же безвыходной ситуации, как после моего жалкого возвращения из Семиюртинска. Лежа на диване без жратвы и работы, я, как это и водится меж людьми интеллигентных профессий, начал предаваться суицидальным размышлениям, то есть воображал, как, не успев повиснуть в петле, буду вызволен оттуда почтальоном, который вдруг принесет мне солидный денежный перевод за мою давнюю «Историю шинного завода», ни с того ни с сего вдруг переизданную благородным, как Робин Гуд, «новым русским», насобиравшим у пьянчуг мешок ваучеров и приватизировавшим это дымное предприятие.

Иногда я выходил на балкон подышать воздухом и высматривал местечко на газоне, которое после падения с седьмого этажа гарантировало бы мне жизнь и возможность слабо махнуть рукой в сторону примчавшейся к месту трагедии съемочной группы «Экспресс-новостей». Но в конце концов я решил остановиться на пищевом спирте Royal. От него, как писали в газетах, ежедневно в городе помирало несколько человек. Это было заманчиво: если из трех миллионов активно пьющих москвичей в день погибает всего несколько бедолаг, то я получал гораздо больше шансов выжить, нежели при падении с седьмого этажа даже в заранее облюбованное место. Но чтобы осуществить этот мягкосуицидальный план, нужно было купить бутылку спирта. А денег-то как раз не было!

И тут я вспомнил про акции АО «ДДД»! Я вложил в них почти все сбережения. Эту глупость я совершил после возвращения из теплоходного круиза Москва – Астрахань, устроенного горячим поклонником моих эпиграммушечек – торговцем квартирами по кличке Недвижимец. Он придумал замечательную вещь: находил одинокого нуждающегося пенсионера или пенсионерку, обещал солидное ежемесячное вспомоществование, а те в знак ответной признательности должны были завещать ему свою жилплощадь. В общем, ничего особенного, фантастически доходного, но бизнес тем не менее процветал, потому что облагодетельствованные старички после заключения контракта помирали с какой-то не свойственной даже их преклонному возрасту расторопностью и квартиры поступали в полное распоряжение Недвижимца. Как ему удавалось регулировать смертность своих клиентов – загадка, но, думаю, дело связано с тем, что, помимо квартир, он еще приторговывал просроченными американскими пилюлями от головной боли, каковыми бесплатно снабжал своих пенсионеров. А как известно, самые головокружительные открытия происходят на стыке наук!

И вот однажды, почувствовав себя необратимо богатым, Недвижимец закупил целый теплоход, приглашал певцов, артистов, телезвезд. Меня же, грешного, выписали для того, чтобы в перерывах между эстрадными номерами я читал мои эпиграммушечки:

Налоги – несущественны,
 Политика – былье,
 Когда срываешь с женщины
 Французское белье!

Там, на теплоходе, я познакомился с одним хмырем, который умел имитировать голоса разных знаменитостей, но его взяли только для того, чтобы он говорил голосом Недвижимцевой тещи одну лишь фразу: «Дура я коломенская...» – что вызывало феерический восторг хозяина. Голосом тещи он овладел настолько, что Недвижимец начал на него даже по-родственному покрикивать, а потом и поколачивать. В результате парень не выдержал и сошел на берег в Нижнем Новгороде. Но перед тем как сбежать, он посоветовал мне вложить деньги в акции АО «ДДД». «Деньги должны работать, а не мы...» – молвил он на прощание, прикрывая здоровенный чернильный синяк под глазом – награду за подражание. И я послушал

этого идиота, чтоб ему всю оставшуюся жизнь подражать реву довоенного унитаза: АО «ДДД» оглушительно лопнуло, снова сделав меня нищим. Но об этом как-нибудь потом...

Когда я совсем уже отчаялся и стал поглядывать на многочисленных столичных нищих с полупрофессиональным интересом, вдруг позвонил Недвижимец. У него были серьезные неприятности со здоровьем: с похмелья, по ошибке, он принял американскую пилюлю от головной боли, к счастью, только одну – это его и спасло. На радостях Недвижимец решил отметить свой день рождения на Сицилии, куда и звал меня, обещая хороший гонорар. Замирая от счастья, я выдержал паузу и тут же согласился.

В Катанье я практически ничего не делал, шатался по городу, пил дешевое итальянское винишко, купил себе на меркато, проще говоря, на толкучке, пиджак и несколько хороших рубашек. Выступать мне пришлось один только раз во время прощального обеда, накрытого персон на сто в роскошном загородном ресторане под старинным акведуком. Наши мафиози, слетевшиеся отовсюду, чтобы поздравить новорожденного, громко ржали над моими эпитаграммушечками. Но итальянские коллеги только улыбались для приличия, хотя переводил им доктор филологических наук из МГУ, лучший знаток Габриэля Д'Аннунцио, специально привезенный по такому случаю. Причем за перевод дюжины эпитаграммушечек, признался он, пьяно плача на моем плече, ему заплатили в несколько раз больше, чем за всего Д'Аннунцио, которого он, бедняга, переводил двадцать пять лет! Из итальянцев оценил мое творчество только директор библиотеки Катаньского университета. Он подошел ко мне и через жалобно всхлипывающего переводчика сообщил, что как раз готовит антологию современной российской поэзии и обязательно включит меня в нее, поставив между Евтушенко и Пушкиным. После такого заявления каждый итальянский мафиози счел своим долгом пожать мне руку, ибо директор библиотеки, как оказалось, и был крестным отцом. Растроганный таким признанием со стороны местной элиты, Недвижимец заплатил мне в полтора раза больше, чем обещал, и я обрадованно смекнул, что смогу купить еще и новую машинку, электрическую. Кроме того, мой расщедлившийся наниматель вручил мне обратный билет бизнес-класса, а сам остался еще на недельку, чтобы ознакомиться с тонкостями решения жилищного вопроса на Сицилии. Его гости разлетелись кто в Штаты, а кто на Канары. Переводчик Д'Аннунцио, протрезвев, устроился ложкомоем в тот самый ресторан под акведуком. Вот почему в Москву я возвращался, одиноко прихлебывая из пластмассового стаканчика «Смирновскую» и заедая ее оливочками, фаршированными анчоусами.

Я снова поглядел в иллюминатор и принялся старательно думать, с чем еще можно сравнить видневшуюся далеко внизу землю. Но безрезультатно... Наверное, я даже чуть-чуть вздремнул: в голове воцарилась нежная многозначительная невнятица. Очнулся я оттого, что кто-то грубо взял меня за плечо. Я открыл глаза и увидел его. В нацеленном на меня взгляде было столько ненависти, что ее вполне могло хватить на геноцид какого-нибудь малого народа...

– Здравствуй, сволочь! – произнес он. – Вот мы и встретились. Теперь тебе точно конец.

Он стоял около моего кресла и смотрел на меня так, как, наверное, мясник с ярко выраженными садистскими наклонностями смотрит на юного, еще ничего не знающего о бараньих отбивных ягненка. Он почти не изменился: у него было все то же усеянное веснушками круглое лицо, румянец во всю щеку, рыжие, завивающиеся на лбу колечками волосы и большие голубые глаза. Только смотрели они на меня не с прежней простодушной доверчивостью, а с холодной враждебностью. И одет он был тоже не как прежде: вместо экзотического, придуманного мной наряда гения, вышедшего из таежной деревни Щимыти, на нем красовался отличный двубортный костюм, переливающийся, как нефтяное пятно на воде. Хорош был и дорогой галстук цвета кинжального удара.

– Не узнал, что ли? – спросил он, скривив губы в беспощадной усмешке.

– Узнал, – прошептал я. – Чего ты хочешь?

– Хочу набить тебе морду!

– И только?

– Только для начала, потом я тебя просто убью!

– А за что?

– Ты меня об этом спрашиваешь?

– Тебя...

– Сам знаешь, котяра! Франкельштерн стоптанный!

Пассажиры заинтересованно посмотрели на нас.

– Франкенштейн, – автоматически поправил я.

– Хватит меня учить! Научил уже один раз... На весь мир чуть не опозорил!

– Я хотел как лучше! – Мне удалось придать своему голосу неправдоподобную искренность.

– А получилось как всегда! Не вари козла! Я для тебя всю жизнь был кроликом Павлова...

– Собакой... – снова поправил я и похолодел.

– Вот-вот – собакой! Я всегда это чувствовал! Пойдем выйдем! – Он схватил меня за шиворот.

Пассажиры уже перешептывались, вникая в драматургию назревающего мордобоя.

– Это самолет – тут нельзя драться... – возразил я.

– А кто тебе сказал, что мы будем драться? Я просто откручу тебе голову! Очень тихо...

Пошли!

– Все равно нельзя: можно нарушить балансировку центрирующей оси крылоподъемной конструкции! – выпалил я первую пришедшую в голову чепуховину.

– Не глупее некоторых. Сам знаю. Я тебя в аэропорту прибью. Готовься!

И тут в воздухе снова запахло парфюмерией. Я давно заметил: насколько мужчины, носящие униформу, привержены к крепким напиткам, настолько женщины, находящиеся при исполнении, склонны к крепким духам. (Хорошее наблюдение. Запомнить!)

– Освободите проход! – потребовала стюардесса, подкрепляя свои слова суровой вставной улыбкой. – Сейчас вам будет предложена горячая пища.

– Что ж, я с человеком поговорить не имею права? – спросил он, предусмотрительно отпустив мой ворот и даже по-приятельски взъерошив мне волосы на затылке. – Я, может, старого друга встретил. Восемь лет не виделись! Я, может, его обнять хочу!

– Люди поедят – тогда обобщайтесь! – отрезала бортпроводница.

Он посмотрел на меня с многообещающей ненавистью, повернулся, и его широченная спина двинулась по салону самолета, точно поршень. Перед тем как скрыться за занавеской, отделявшей бизнес-класс от экономического, он обернулся и показал мне огромный кулак, суливший по меньшей мере обильное кровотечение и множественные переломы. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. За все приходится платить. Рано или поздно придуманная и выпущенная в мир тварь задушит своего Франкенштейна, а Галатея наставит Пигмалиону рога. Собственно, с этих чертовых маральных рогов все и началось...

Стюардесса вынула из металлического ящика на колесиках пластмассовый поднос с сиротской аэрофлотовской едой и поставила передо мной на откидной столик:

– Приятного аппетита! Пива не желаете?

– Что? Нет... Нет-нет! – вздрогнул я всем телом.

2. В начале было пиво

Нет, не с маральных рогов – все началось с пива! Я очень хорошо помню тот день. Год тоже легко вспомнить: шли первые месяцы горбачевской перестройки, когда слов было уже много, а пива еще мало, и если в писательский клуб завозили свежее «Жигулевское», то за столиками делалось шумно и свободомысленно. Да и время наступило замечательное: нашему доверчивому народу уже дали в ручонку погремушку гласности, но пока еще не отняли от материнской груди социализма. Впрочем, нет! Началось это чуть раньше, как раз накануне гласности. Ну конечно, как можно перепутать? Ведь и гласность хренова началась именно с этой истории, с моей давней непростительной глупости.

Дело было так. Стас Жгутович, Арнольд и я сидели в Дубовом зале Дома литераторов и пили пиво с раками, которые в ту пору, если говорить о Москве, водились только здесь да еще иногда в Доме журналистов. Арнольд все время порывался выставить на стол бутылку настойки из маральных рогов. Ибо она, как, смеясь в бороду, объяснял он, – лучшее средство от рогов супружеских.

И вообще у них в Сибири такую настойку зовут «амораловкой» – за ее необоримо возбуждающее действие. А недавно, например, пробную партию «амораловки» закупили совсем уж почти невозмутимые финны и просто с ума посходили. Арнольд, почуяв выгоду, начал хлопотать об организации производственного кооператива – их как раз только-только разрешили постановлением ЦК КПСС.

– Взъерошимся, мужики! – предложил Арнольд, заманчиво подмигивая.

Но мы, сосредоточившись на пиве, разрешили ему выставить только литровую банку соленых рыжиков, которые идут с «Жигулевским» еще лучше раков. Деморализовав нас рыжиками, он наконец сделал то, от чего мы удерживали его весь вечер: начал нам рассказывать сюжет своего нового романа. Подробностей я, конечно, уже не помню, но суть такова: один таежный охотник по имени Альберт выслеживает и убивает самку рыси, чтобы сшить шапку любимой женщине. И тут-то начинается самое главное. Лишившись подруги, самец принимается мстить за свое порушенное звериное счастье и преследует охотника аж до самого Красноярска, где и загрызает его насмерть возле мехового ателье, куда Альберт пришел, чтобы получить уже готовую шапку. Мстительного самца отстреливает случившийся поблизости милиционер. Он вместе с шапкой приносит страшное известие любимой погибшего промысловика. И остаются на свете две одинокие, лишившиеся своих мужчин самки – одна в виде женщины, другая в виде шапки...

– Ну как? – спросил Арнольд, заранее скромно потупив глаза.

– Говно! – выпалил я, чтобы опередить какую-нибудь чудовищную бестактность со стороны Жгутовича и не слишком огорчить самолюбивого провинциального автора.

– За что ж вы здесь, в Москве, так Сибирь не любите? – задумчиво поинтересовался Арнольд.

– Ты Мелвилла хоть читал? – тяжелым от пива голосом спросил Стас.

– Не довелось.

– Когда доведется, обрати внимание: у него там кит за мужиками гоняется... «Моби Дик».

– Так то ж кит!

– А у Распутина медведь тоже одного мужика выслеживает, – добавил я.

– Так то ж медведь, – не сдавался Арнольд, – у меня-то – рысь! А про шапку у них там есть?

– Про шапку у них там нет, – покачал головой Жгутович, – но на аллюзиях далеко не уедешь!

Арнольд затих, видимо, прикидывая, далеко ли можно уехать на аллюзиях, а главное, соображая, что это такое – аллюзия. Спорить со Стасом он даже и не пытался, потому что Жгутович был человеком угнетающе начитанным, да и работал в букинистическом магазине «Книжная находка», что на Лубянке, рядом с памятником первопечатнику Ивану Федорову. Стаса знала вся литературная Москва, так как он помогал писателям в обстановке жестокого книжного дефицита доставать редкие и идеологически неоднозначные издания. Он бы мог озолотиться на этом деле, но у него была одна пагубная и неизлечимая болезнь. По сравнению с ней наследственный алкоголизм с запоями и галлюцинациями – всего лишь легкое недомогание. Он писал стихи. Отвратительные, как утренний остаток макияжа на лице нелюбимой женщины. По этой печальной, но уважительной причине книги писателям он доставал задаром, рассчитывая, что они в знак ответной признательности порекомендуют его произведения в какой-нибудь популярный журнал. Однако чаще всего, получив искомую книгу, вероломный писатель в ответ на просьбу «поддержать» начинал морщить лоб и, полистав Стасовы стихи, бормотал что-то про пока не обретенный еще автором консенсус между экзистенцией и поэтическим инобытием логоса... В переводе на обычный язык это означало следующее: хоть ты, Стасик, и хороший парень, но твое плохо прорифмованное дерьмо порекомендовать куда-нибудь очень сложно, разве что ты достанешь мне собрание сочинений Арцыбашева. А когда, достав наконец Арцыбашева, да еще комплект романов Ренье в придачу, Жгутович заводил речь о том, что стихов у него набралось уже на три сборника, а поэт без книги – как Париж без Сены, ему начинали бормотать что-то о судьбе как формообразующем факторе творчества...

Так бы Стас и мучился до пенсии, но однажды случилось невероятное: какой-то бомжеватого вида мужичок приволок в магазин здоровенный том «Масонской энциклопедии», изданной перед самой революцией. Это была немыслимая удача, ну, как если б сегодня кто-нибудь нетрезвый притащил вам мешок платиносодержащих радиодеталей и попросил за это пятьдесят долларов. Мужик опасливо запросил пятьдесят рублей. Стас великодушно заплатил за «Масонскую энциклопедию» червонец из собственного кармана, и доходяга был счастлив, ибо пребывал в том специфическом состоянии, когда за стакан портвейна можно продать себя на галеры. Конечно, Жгутович сразу понял, что наступил его звездный час и что теперь или никогда он станет наконец автором книги стихов, без которой поэт – как Лондон без Темзы. Слух о «Масонской энциклопедии» разнесся по литературной Москве с эпидемической скоростью. К магазину возле памятника Ивану Федорову потянулись, как волхвы к Христу-младенцу, писатели: всем хотелось завладеть уникальной энциклопедией и проникнуть в тайну великого закулисья, в тайну, по сравнению с которой марксизм – детская сказка про Шалтая-Болтая. Но их ожидало суровое встречное предложение: Стас, как вы уже, наверное, догадались, решительно требовал в качестве вознаграждения издать его собственную книжку и не торопился расставаться с «Масонской энциклопедией», дожидаясь надежного соискателя, безотказного, как автомат Калашникова. Ошибиться Жгутович не имел права. Это теперь, когда хрупкий скелет нации хрустнул в объятиях капитализма, ты можешь прийти, заплатить, и твоя книга, состоящая, допустим, из альковных прозвищ, какими одаривали тебя женщины, будет мгновенно издана. Но тогда... Тогда на каждого, кто приходил в издательство с рукописью, смотрели так, точно это был маньяк, сбежавший из психушки вместе со своей историей болезни, каковую теперь и просит опубликовать, да еще собирается получить за это гонорар.

А чтобы до конца стало ясно, сквозь какие тернии приходилось продираться стихотворной строке на пути от первой grimасы вдохновения на лице поэта до пахнущего свежей типографской краской сигнального экземпляра, я должен рассказать, как была издана моя первая и единственная книжка. Случилось это только благодаря тому, что, разведясь в один прекрасный день с женой и разменяв нашу общую жилплощадь, я стал обладателем однокомнатной квартиры на улице Командарма Тятина (ныне 2-я Вздыбенская) в панельном доме, построенном в семидесятые годы. Эти облупившиеся белые многоэтажки в центре Москвы напоминают мне

сломанные холодильники, завезенные дачниками в лес и там брошенные... (Неплохо. Запомнить!)

Почему я развелся с женой, вопрос неясный, пожалуй, даже более неясный, чем вопрос, почему я на ней женился. Она была миловидной, пухленькой дамой, неплохо готовила, изъяснялась на литературные темы и изнурилась аэробикой. По вечерам мы лежали в постели и, прежде чем заняться любовью, читали: я – стихи какого-нибудь просочившегося на журнальные страницы мерзавца, она – «Здоровье». Сигналом к переходу от чтения к уныло-вазелиновому интиму обыкновенно служило нажатие кнопки ночника. Заметив, что моя рука потянулась к выключателю, она поворачивала ко мне свое густо смазанное ночным кремом лицо и говорила: «Подожди, милый, я дочитаю страницу!...» По утрам жена ходила на стадион (он был виден из нашего окна) и для поддержания фигуры делала несколько кругов по гаревой дорожке. И вот однажды, прихлебывая кофе и наблюдая через стекло, как она движется по терракотовому ободку зеленого поля, я неожиданно подумал о ней как об искусственном спутнике, который может в любой момент сорваться со своей орбиты и навсегда исчезнуть в вечной космической мерзлоте.

Через два месяца мы развелись. К этому времени я еще не опубликовал ни одного своего стихотворения и на жизнь зарабатывал тем, что, во-первых, служил корреспондентом в многотиражке «За образцовый рейс» 4-го автокомбината, а во-вторых, тем, что писал стихотворные пионерские приветствия и юбилейные истории фабрик и заводов. По сему поводу, уже собирая мои вещи, жена заметила, что это чисто русская традиция: нестреляющая Царь-пушка, незвонящий Царь-колокол и непечатающиеся поэты...

Получив после размена в полное свое распоряжение однокомнатную квартиру, я поначалу и не сообразил, что таким образом обеспечил себе литературное будущее. Я просто наслаждался полузабытым счастьем безотчетного одиночества. Девушки у меня, конечно, бывали, но не так уж часто, ибо свобода настраивает мужчину на философский лад и делает гурманом. Измена в браке – это нечто профилактическое. Если б адюльтер входил в ежеквартальную медицинскую диспансеризацию, думаю, большинство мужей бросили бы заниматься этой чепухой...

Жизнь моя изменилась внезапно. Однажды я притащил к себе домой критика Закусонского. Притащил в буквальном смысле слова, ибо в этот день он получил авансы за положительную рецензию, а также за два упоминания в обзорной статье – и поэтому был просто не в состоянии добраться до дома. Пробудившись утром, Закусонский обполз мою квартиру оловянным взглядом и полувопросительно протонал, так как на полноценный вопрос сил не было:

– Где я?

– У меня.

– А разве ты один живешь? – удивился он.

Мне показалось, что это эмоциональное усилие будет стоить ему жизни, и я достал из холодильника бутылку пива.

– Теперь вот один...

– Невероятно! – задохнулся он то ли от изумления, то ли от спасительного глотка.

– Что – невероятно?

– Ты живешь один и еще ни разу нигде не печатался?

– Ни разу.

– Невероятно...

Через несколько дней ко мне подошел толстенький поэт, работавший в молодежном журнале.

– Ну ты не прав! – укорил он меня, хлопая по плечу, хотя до этого никогда со мной даже не здоровался. – Неси срочно! Штук пять. Одно – за Советскую власть. Остальные можешь за...

И он ввернул расхожее матерное словцо, обозначающее примерно то же, что в его собственных стихах, неплохих, кстати говоря, обозначало словосочетание «мохнатая роза любви». Несколько дней я мучительно составлял подборку, а потом, специально купив для машинки свежую ленту, тщательно перепечатывал стихи, комкая и бросая в корзину листы, даже если в них была одна-единственная опечатка... Он принял меня в своем заваленном рукописями кабинете, взял мою подборку и не глядя сунул в братскую усыпальницу пыльных манускриптов.

– Жди! – сказал он.

Ждать пришлось недолго. Вскоре он заявился ко мне с длинноногой юной поэтессой, годившейся ему в дочери. Стоя рядом, они напоминали персонажей сказки «Пузырь и соломинка». Мы выпили, поговорили немного о поэзии, а потом он стал, по-рачьи вращая глазами, показывать мне на дверь моей собственной квартиры. На всякий случай я оставил на кухонном столе склянку сердечных капель и ушел в ночь, каковую и провел на лавочке зала ожидания Ярославского вокзала. Воротившись утром, я нашел валокордин нетронутым, зато из холодильника бесследно исчезли килограмм вареной колбасы и фрукты. С тех пор он стал появляться у меня довольно часто, и благодаря этому я в сжатые сроки достаточно близко смог познакомиться с цветом молодой женской поэзии. Должен заметить, среди всех этих девиц были не только длинноногие, но также и литературно небезнадежные особы. Некоторые из них по протоптанной дорожке потом не раз заглядывали ко мне и без него, объясняя, что после этого пузыря им хочется чего-то мужского – как по форме, так и по содержанию.

Мои стихи он напечатал ровно через год, а критик Закусонский, тоже однажды затаскивший ко мне какую-то очкастую гримзу в спущенных чулках, тиснул в «Литературном еженедельнике» теплую рецензию под названием «И половодье чувств...». К тому времени ко мне уже заходили несколько сотрудников толстых журналов, заместитель заведующего отделом центральной газеты, три радиокорреспондента и звукооператор с телевидения. Пришлось составить жесткий график, передружиться со всеми бомжами и постовыми милиционерами Ярославского вокзала, но зато мои стихи периодически появлялись в печати, звучали по радио, а однажды я даже возник на телеэкране в передаче «Рабочий полдень», где среди станков читал свои произведения рабочим завода «Электролит», тосковавшим об испорченном обеденном перерыве.

Наконец случилось то, что должно было случиться: мне позвонил важный человек из солидного издательства и сказал довольно хмуро, что хотел бы посмотреть рукопись моих стихотворений и если она удовлетворяет тем высоким требованиям, которые предъявляет издательство к своим авторам, то, вероятно, можно будет попытаться подумать о перспективе издания книги. Замирая от счастья, я спросил, когда можно привезти рукопись. «Я сам приеду», – был ответ.

Он приехал в тот же вечер в сопровождении трех совершенно пьяных девиц легкого поведения, которые начали раздевать его, даже не дождавшись моего ухода. Увидев, как я затропился к двери, он дружески махнул мне волосатой рукой и великодушно пригласил: «Вали к нам до кучи!» Но я, забормотав что-то про внезапно заболевшую бабушку, отклонил приглашение, ибо барахтаться голышом куча-мала с незнакомыми девицами и пузатым полужнакомым дядей – это никакой не групповой секс, а самый настоящий разврат!

С появившейся перспективой издания книги график посещения моей несчастной квартиры стал настолько жестким, что мне иной раз приходилось снимать койку у старушки в доме напротив, потому что спать на вокзальных лавках жестко, и к тому же я стал простужаться от сквозняков. Кроме этого, вышло постановление о борьбе с бомжами и прогульщиками. И в результате меня однажды забрали в милицию, но отпустили после того, как я объяснил начальнику отделения, что являюсь поэтом, а в доказательство спел песню на стихи Есенина. Я даже не мог пригласить к себе домой Анку, и, чтобы совпасть в желаниях, приходилось тащиться к ней на дачу в Перепискино.

Но вот вышла моя книжка. Я вдохнул свежий запах типографской краски. Прочитал ее от начала до конца сперва очень быстро, а потом еще раз, очень медленно, и понял, что стихи мои не то чтобы плохи, нет, они даже по-своему хороши, однако устраивать из квартиры общегородской бордель, снимать койку у старушки только ради того, чтобы увидеть их набранными и сброшюрованными в тонкую книжицу, не стоит. Конечно, искусство всегда требует жертв, но только гении и кретины приносят ему человеческие жертвы. (Неприменно запомнить!) Не будучи первым и не желая стать вторым, я объявил всем посетителям, что лавочка закрывается, и перевез пожитки от старушки назад в свою квартиру, которая за два года настолько пропахла потом сладострастия и прочими сопутствующими ароматами, что срочно пришлось делать ремонт. На это ушел почти весь гонорар за книжку.

Кстати, мне всегда казалось, что, если у меня выйдет книжка, моя жизнь совершенно изменится – я даже по улицам начну ходить по-другому, а прохожие станут смотреть на меня совсем иначе... Ничего подобного. Никто даже не заметил. И только критик Закусонский, встретив меня в ЦДЛ и радостно боднув головой в плечо, поздравил с выходом сборника, но заломил за рецензию такую несусветную цену, что я, потратившись перед этим на ремонт, вынужден был отказаться.

Еще вдруг позвонил Костожогов. Я как раз лежал под одеялом и с нетерпением ждал, когда Анка выйдет из ванной.

– Поздравляю! – сказал Костожогов.

– Вам понравилось? – встрепенулся я.

– Вы – человек способный. Я вам уже это говорил. Но ведь первая книга – это всего лишь повод подумать, стоит ли писать дальше.

– Спасибо, я подумаю...

В это время из ванной вышла Анка. Она всегда превращала свой выход в маленькое эротическое представление, а в тот день изображала как будто бы японку и, плотно обернувшись большим полотенцем, шла ко мне, по-восточному семеня ножками. На середине комнаты тяжелое махровое «кимоно» вдруг распалось и обрушилось на пол...

– Нет, в самом деле, в книге есть несколько вполне профессиональных стихотворений, – продолжал Костожогов, – но профессионализм в литературе – то же самое, что хорошее пищеварение. Весь вопрос – для чего! Помните, я говорил вам о трех путях? Похоже, вы об этом даже не думали. О выборе вы еще и не размышляли...

– Простите, что вы сказали? – переспросил я.

Анка уже забралась под одеяло и отвлекала меня от разговора самым изощренным образом.

– Вы заняты? – смутился Костожогов.

– Чуть-чуть, – ответил я, изнывая. – Я вам перезвоню...

– Мне некуда перезванивать. Лучше приезжайте ко мне как-нибудь в Цаплино. Поговорим. Почитаете стихи моим ученикам. Дети – замечательные критики! Адрес вы мой не потеряли?

– Нет, – соврал я.

– Приезжайте! Буду ждать.

И Костожогов повесил трубку. А Анка вдруг выбралась из-под одеяла и стала молча одеваться.

– Ты куда?

– Надоело, – ответила она.

Но я ее умолил – и Анка осталась. Окончательно мы поссорились месяца через два.

Больше по поводу книжки мне никто не звонил, хотя телефон не умолкал: мои благодетели, оставшись без квартиры, требовали, убеждали, даже угрожали... Они просили меня принести стихи, уверяя, будто без них взыскательный советский читатель просто не находит

себе места, а литературный процесс неумолимо оскудевает, но я вежливо отнекивался, ссылаясь на глубокий творческий кризис и на не очень удачные попытки перейти со стихов на прозу. Причины были уважительные, и несколько дней мой телефон молчал. Но потом на меня вышел заведующий отделом прозы толстого журнала и решительно объявил, что не успокоится, пока не получит от меня повесть или в крайнем случае рассказ! Тогда я позвонил на АТС и попросил отключить на время мой телефон.

– Не положено! – ответили мне. – Вот если б вы не оплатили межгород – тогда другое дело.

– Девушка, я вас прошу!

– И не просите!

– А вам кто-нибудь говорил, что у вас голос, как у Софи Лорен?

– Не-ет! – потеплел голос.

Вообще-то я слукавил: тембр у нее был не как у Софи Лорен, а как у нашей отечественной актрисы, всегда дублирующей эту кинозвезду. Но телефон она, подобрав, отключила. Тогда издатели, страстно желая меня опубликовать, стали звонить в дверь, даже присылали телеграммы, но в конце концов все-таки успокоились, а следом за ними потерял ко мне интерес и взыскательный советский читатель. Но пора вернуться в ресторан Дома литераторов к пиву и рыжикам...

3. Спор книгопродавца с поэтом

Мы тихо допивали пиво и доедали рыжики. Официантка уже четыре раза уносила с нашего стола пустые бутылки. Дело шло к вечеру. Зал ресторана постепенно наполнялся. Пришел и в ожидании клиентов, как часовщик-починщик, занял свое место в уголке критик Закусонский. Если прежде, увидев меня, он вскакивал, подбегал, обвивался руками вокруг моей шеи и, ласково боднув лбом в плечо, говорил: «Ну, здорово, старый!» – то теперь лишь приветствовал усталым полужакрытием глаз.

Следом возник поэт Одуев. Сегодня он был не со своей обычной подружкой-телевизионщицей Стеллой, а с какой-то длинноногой малолеткой. Пристально оглядев зал и дружески кивнув мне, он заказал ей мороженое и стал читать, громко заывая, стихи, а она смотрела на него с тем слепым обожанием, с которым смотрела бы, наверное, меломанка на свинью, запевшую голосом Паваротти.

В окружении стайки западных журналистов явился поужинать прозаик Чурменев, автор знаменитого романа «Женщина в кресле», где описывается, как некая дама, раскоряченная в гинекологическом кресле, пытается найти в себе Бога. Этот роман он сочинил лет десять назад, будучи еще сущим юношей. Замысел, как сам автор рассказывал в одном из интервью (я слышал по радио «Свобода»), пришел ему в голову, когда он вдруг вообразил себе Настасью Филипповну на приеме у гинеколога. Закончив роман, Чурменев тут же с оказией отправил его в нью-йоркское издательство. Среди интеллектуальной части золотой молодежи это называлось тогда «рискнуть отцовским партбилетом». Отец его был крупным руководителем среднего звена и к тому же сыном классика детской литературы. Однако ничего не случилось: благополучно миновав бдительную таможню, сначала в одну, а потом и в обратную сторону, рукопись воротилась назад с кисло-сладкими замечаниями по поводу несомненного таланта автора и еще более несомненной ненужности этого произведения взыскательному американскому читателю. Чурменев озлился, но не отчаялся: пользуясь любой тайной оказией, он рассылал рукопись романа в разные страны, но с тем же результатом. Так продолжалось несколько лет. И вот как-то раз один тертый диссидент по фамилии Пыльношлемов, общеизвестный несколькими грамотно организованными скандалами, посоветовал Чурменеву вложить в папку с рукописью сотню-другую незадекларированных долларов. Это помогло: первый же таможенник зеленые, конечно, конфисковал, а с ними и рукопись. Автора срочно вызвали в Союз писателей, мгновенно выдали ему писательский билет (обычно этот процесс занимает у молодого литератора от пяти до двадцати лет жизни), а через неделю Чурменева с треском исключили из Союза писателей в назидание всем прочим, предпочитающим западных книгоиздателей отечественным. Заодно сняли с должности и Чурменева-старшего, дабы руководители среднего звена серьезнее относились к воспитанию подрастающего в их спецквартирах молодого поколения...

Так Чурменев-младший однажды проснулся знаменитым и упоительно гонимым. Полосы западных газет пестрели заголовками: «Опять – 1937!», «Новая жертва Бабьего Яра?», «Чурменев против КГБ»... Все издательства, которые когда-то отклонили роман «Женщина в кресле», тут же завалили автора телеграммами с предложениями самых выгодных контрактов. Его книга вышла почти одновременно в двадцати семи странах, а обозреватель влиятельнейшего американского еженедельника Book magazine назвал свою рецензию «Чурменев – Достоевский сегодня». Зацеписто, конечно, но других русских писателей он просто не знал. В КГБ сформировали специальную оперативную группу под кодовым названием «Гинеколог» исключительно для контроля за писателем Чурменевым. Во главе группы поставили генерал-лейтенанта, знавшего папашу проштрафившегося литератора по совместной охоте.

С тех пор автор знаменитого романа всюду появлялся в окружении западных журналистов, а на почтительном расстоянии от них следовали сотрудники КГБ из «наружки». Генерал-лейтенант и Чурменьев-старший продолжали ездить вместе на охоту и по ночам у костра, наевшись медвежьего шашлыка, обсуждали, как ловчее вернуть блудного сына в лоно советской литературы. Когда благодаря мне началась гласность и слежку за Чурменьевым прекратили, к нему подошел человек в штатском и, представившись заместителем начальника оперативной группы, смущенно попросил для личного состава надписать несколько экземпляров романа, только-только переизданного «Посевом». Но не буду забегать вперед...

Итак, мы допили пиво, и я предложил заказать еще несколько бутылок, но денег у нас со Стасом больше не было.

– М-да... – сказал Арнольд, выгребая из карманов последнюю мелочь. – Сволочи вы тут в Москве-то!

– Почему сволочи? – вяло полюбопытствовал я.

– Все соки из России выпили...

– А что ж, Москва не Россия, по-твоему? – заступился за столицу Стас.

– Нет, не Россия. Москва – желвак на здоровом теле нации, – отозвался Арнольд, тяжело вздохнув.

Он уже несколько раз пробовал перебраться в столицу, печатал объявления в разделе «Междугородный обмен», даже фиктивно женился, но девица деньги-то взяла, а потом выяснилось, что она и сама лимитчица, прописанная в городе Орле. Пришлось разводиться...

– Москва – джунгли, – продолжал Арнольд, – другое дело – тайга! Я, мужики, когда белке в глаз попадаю, ощущаю то же самое, если рифму хорошую нахожу...

Мы со Стасом деликатно переглянулись: Арнольд работал корреспондентом в газете «Красноярский зверовод» и белок, судя по всему, видел только в клетках.

– А бывалоча, – не унимался Арнольд, – сидишь у костерка, полешки-то потрескивают, искорки в небо сигают, а на душе так хорошо, так стихоносно... И строчки даже не сочиняются, а всплывают из сердца, как жуки-плавунцы из придонной травки. Я хоть и прозу пишу, а вот тоже недавно сочинил. Сейчас... обождите... Ага...

Арнольд профессионально помертвел лицом, вспоминая строчки. Стас и я снова переглянулись и безмолвно договорились не повторять той ошибки, которую давеча допустили с сюжетом Арнольдова романа. Если поэт, неважно – столичный или провинциальный, прочтет за столом хотя бы одну свою строчку, он уже не остановится, пока не вывалит вам на голову весь накопившийся в его душе стихотворный мусор. Такие поползновения нужно давить в зародыше.

– Ага, вот-вот... – Лицо Арнольда начало угрожающе оживать.

– А вот я, – Стас резко перехватил инициативу, – когда гляжу на пыльные ряды книг в магазине, чувствую себя мальчишкой, вознамерившимся ублажить ненасытное лоно Астарты...

– Кого? – огорченно переспросил Арнольд, еще надеясь, что почитать ему все-таки дадут.

– Та-ак, баба одна... – пояснил высокомерный Стас. – Нам страшно не повезло: мы живем в эпоху перенасыщенного культурного раствора. Тут недавно ко мне в магазин Любин-Любченко заходил – рассказывал. Это его теория. Чтоб ты, Арнольд, понял, получается эдакая двойная уха!

– Как не понять! – закивал Арнольд.

– Мы с вами жертвы набитых книжных полок, – вздохнул Жгутович, видимо, вспомнив о своем не изданном до сих пор сборнике.

– Жертвы, – согласился Арнольд. – У меня об этом в романе тоже есть...

– Я даже не представляю, – не уступал Стас, – что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!

– Я вот недавно написал! – не унимался и Арнольд.

– Ничего писать не надо, – подыграл я Жгутовичу. – Текст не имеет никакого значения.

– Абсолютно никакого, – согласился Арнольд. – Я вам сейчас об этом рассказ прочитаю!

– Что значит – не имеет значения? – не понял Стас.

– А то и значит: можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать... – развил я эту внезапно пришедшую мне в голову мысль.

– Цитировать? – переспросил Стас.

– Да, цитировать! – не отступал я, ибо пиво в больших количествах делает человека удивительно упрямым.

– Нонсенс!

– Чего? – не понял Арнольд.

– Вы, конечно, можете меня спросить, – все более воодушевляясь, продолжал я, – почему у классиков все-таки есть тексты? Отвечаю: потому, что они были в плену профессиональных условностей: портной должен шить, столяр – строгать, писатель – писать! Допустим, ты не читал Шекспира, а это, в сущности, равносильно тому, как если б он ничего не написал. Но ведь Шекспир все равно гений!

– Все равно, – согласился Арнольд.

– Софистика! – ухмыльнулся Стас.

– Чего? – не понял Арнольд.

– Нет, не софистика, – настырно возразил я. – Софистика – обман ума, рассыпающийся при первом столкновении с действительностью. А я могу доказать свои слова на практике. Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя!

– Нонсенс! – замахал руками Стас.

– Чего? – снова переспросил Арнольд.

– Фигня! – уточнил Жгутович.

– Ах, фигня! – возмутился я, и кровь с пивом бросилась мне в голову. – Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!

Несмотря на решительную интонацию, все это было сказано мной, конечно же, в риторическом порыве и с оттенком явного алкогольного романтизма. Но Стас рассудил иначе.

– На что спорим? – деловито усмехаясь, спросил он.

– В каком смысле? – не понял я.

– В прямом. Ты предлагаешь спорить? Я готов. На что спорим? Или ты испугался?

– На что угодно! – ответил я, заводясь.

– И этот твой дебил не напишет ни строчки? – издевательски уточнил Жгутович.

– Он вообще может быть неграмотным! – небрежно бросил я.

– Нонсенс! – сказал Арнольд.

– Хорошо. Если ты проиграешь, а это неизбежно, то я буду по первому звонку в любое время пользоваться твоей квартирой! Идет? – оживился Жгутович.

Тут я должен снова сделать пояснительное отступление. Дело в том, что Стас по натуре бабник-тихушник, а книжная пыль к тому же, как я где-то прочел, чрезвычайно стимулирует женолобие. В Италии, например, ослабшим мужчинам врачи даже рекомендуют чаще бывать в библиотеке. Однако Стасу очень не повезло с женой: она у него из кубанских казачек – ревнива до умоисступления и не только лазает по карманам, но еще ежевечерне тщательнейше осматривает его одежду в поисках приставших дамских волос и даже обнюхивает на предмет внебрачных запахов. Однажды она до полусмерти отходила Стаса чугунной сковородкой за то, что от его майки тянуло «Диором». И только потом, отходя и немного отойдя, вспомнила,

как сама же и побрызгалась этими духами, когда заезжала к подружке за выкройками. Кроме всего, жена звонит ему на работу через каждый час – проверяет, а в девятнадцать ноль-ноль неукоснительно встречается его на пороге магазина с полными сумками продуктов, каковые он и тащит на себе домой – в Теплый Стан.

Ясное дело, Стас не мог себе позволить даже самые невинные мужские удовольствия, а в тот памятный вечер он оказался в ресторане нашего клуба только потому, что после обеда должен был ехать на курсы повышения квалификации продавцов-букинистов, но занятия отменили из-за болезни лектора, о чем, естественно, он жену в известность не поставил. Но такие подарки судьба подкидывала ему нечасто. Сам он свою жизнь называл добродетелью строгого режима. А ведь в нем, как в каждом мужчине, тоже кипели страсти: он влюблялся в своих постоянных покупательниц, ужасно страдал от бесперспективности, и постепенно на его лице установилось выражение застоявшейся невостречанности, которое часто путают с признаком пытливого ума. Свое сексуальное неудовлетворение Стас сублимировал в творчество, но за мелькнувший в его стихах «ласкающий пепельный локон», абсолютно вымышленный, он был жестоко избит кофеваркой. От более лютой расправы Стаса спасло то, что его жена лет десять назад, сдуру, покрасилась в какой-то пепельно-пегий цвет, о чем и вспомнила, занеся кофеварку для решающего удара... Методом жестоких проб и роковых ошибок Стас нащупал безопасную для жизни тематику. Обычно его стихи и поэмы назывались крайне филологично: «Перечитывая третью главу “Кентерберийских рассказов”», или «Модильяни пьет абсент в “Ротонде”», или «Смерть Альбера Камю в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года». Но надо ли объяснять, что Жгутович мечтал о большем? Вот почему моя однокомнатная квартира, расположенная в пяти минутах бега от букинистического магазина «Книжная находка», была единственным выходом из того кошмара, в котором он влачил свои половозрелые годы.

– Значит, ты будешь пользоваться моей квартирой? – игриво переспросил я.

– В любое время и в любых целях! – уточнил Стас.

– Молоток! – Арнольд хлопнул Жгутовича по плечу.

– Идет, – согласился я и сделал многозначительную паузу. – Но если ты проиграешь, то я буду в любое время пользоваться твоей «Масонской энциклопедией»!

– В каком смысле? – затомился алчный Стас.

– В прямом. Ты мне ее просто отдашь!

– Молоток! – Арнольд хлопнул меня по плечу.

На мгновение Жгутович замер, и на лице его живо отобразилась схватка скрытого сладострастия с явным честолюбием, но довольно скоро честолюбие пискнуло и подняло вверх свои крысиные лапки.

– Идет! – кивнул он. – Тем более что ты все равно не выиграешь!

– Подумай! – усмехнулся я и решил его помучить. – Ты теряешь единственный шанс. Если ты отдашь мне энциклопедию, книгу тебе никто не издаст, и взыскательный читатель никогда не сможет насладиться твоей поэмой «Иван Тургенев читает Полине Виардо фрагменты романа “Дым”».

– Романа «Новь», – обиженно поправил Стас. – Ты всегда был Терситом по натуре...

– А кто такой Терсит? – вмешался Арнольд.

– Так, мужик один, – объяснил Стас и добавил: – Я подумал. Ты никогда не выиграешь! –

И он протянул мне руку.

Я протянул свою. Нет, это было не рукопожатие, а схватка двух лукавств.

– Разбей! – приказал я Арнольду.

Тот сначала решительно занес руку, но вдруг заколебался:

– Не-ет, так не пойдет...

– Почему?

– А вы мне объясните, что значит – первый встречный?

– Как – что? – пожал я плечами. – Мы выходим на улицу, останавливаем первого встречного и предлагаем ему принять участие в нашем эксперименте, – растолковал я.

– А если он отказывается? – уточнил Арнольд.

– Тогда мы останавливаем другого.

– А если и он отказывается?

– Тогда третьего – и так до тех пор, пока кто-нибудь не согласится.

– Но ведь тогда это будет не первый встречный! – логично заметил Арнольд.

– Не придирайся к словам! – заступился за меня Стас, которому уже не терпелось поразвратничать на моей жилплощади.

– Ладно, – смирился Арнольд, – в конце концов, вы спорите, а не я. Вам и расхлебывать.

– Что? – не понял я.

– Подумайте сами: а если первым встречным окажется, допустим, Франсуаза Саган? По ящику сказали: она как раз сейчас в Москве...

– Хорошо, – согласился я. – Известных людей мы отмечаем как класс!

– А если первым встречным окажется твой друган, с которым ты заранее все обшляпил? – спросил Арнольд и глянул на меня с чалдонской хитрой улыбкой.

– Ваши необоснованные подозрения мне странны! – ответил я, и, хотя у меня не было никаких жульнических планов (у меня вообще не было планов), щеки мои затеплились, как у всякого порядочного человека, заподозренного в свинстве.

– В самом деле, – насупился Стас, – я хотел бы гарантий.

– Мое честное слово для тебя не гарантия? – фальшиво, несмотря на всю чистоту своих намерений, возмутился я.

– Писатель, дающий честное слово, то же самое, что проститутка, которая клянется своей невинностью! – отрезал Жгутович.

– Как сказал! – воскликнул Арнольд, и его лицо напряглось в запоминающем усилии.

– Что ж, в таком случае наше пари расстраивается, – облегченно констатировал я.

– Вы, мужики, не расстраивайтесь, – успокоил Арнольд, глянув на часы. – Прямо сейчас должен прийти Витек, племян наш редакционного шофера. Я ему от дяди привез рыжиков, – он кивнул на пустую банку, – и бутылку «амораловки», – он показал глазами на свой рюкзачок.

– Кем он работает? – подозрительно поинтересовался Стас.

– Чальщиком.

– А что это? – продолжал допытываться Жгутович.

– Так, мужик с чалками, – ответил злопамятный охотвед.

– Образование? – не обратив на это внимания, спросил обладатель «Масонской энциклопедии».

– Ну какое образование у чальщика? Незаконченное...

– Конкретнее! – потребовал Жгутович.

– Из ПТУ за двойки выгнали...

– Очень хорошо!

– Вот вы Витька и заделайте знаменитым писателем. Он дядьке письма присылает с такими ошибками, что вся редакция гогочет. Вот вам и чистота эксперимента. А из первого встречного тебе любой дурак гения сконструит!

– Идет! – обрадовался Стас и буквально вцепился в мою руку.

Я нехотя сжал его вспотевшую от предчувствия удачи ладонь, а Арнольд, крикнув, разбил наш заклад. Отмечая заключенное пари, мы допили остатки пива и закусили по-братски последним рыжиком из дядиной банки. Арнольд пошел встречать будущую знаменитость: по его прикидкам Витек должен был уже подъехать.

– У тебя диван или кровать? – задумчиво жуя гриб, спросил Стас.

– Диван-кровать, – буркнул я, мысленно ругая себя за это дурацкое пари.

4. Простодушный

Через несколько минут он уже сидел за нашим столиком – здоровенный кудряво-конопатый парень, не знающий, куда деть свои огромные красные ручки. На нем были синие портки, которые сшившие их в городе Можайске люди почему-то поименовали джинсами, и байковая клетчатая рубаша с залохматившимися манжетами. А его башмаки, грубые строительные бахилы, удивляли взгляд бело-серыми разводами, похожими на те, что остаются на черной школьной доске, если стереть написанное мелом с помощью грязной тряпки. Зато лицо парня светилось добродушной безмятежностью: вероятно, из всех проклятых вопросов бытия его беспокоил только один – как дотянуть от аванса до получки. И то, видимо, не очень... Я еще раз пожалел о заключенном пари.

Когда Арнольд подвел его к нашему столику, он, ужасно робея и запинаясь, представился: «Витёк». Не «Витя», не «Виктор», не «Витька», а именно – Витек. Чувствовалось, что малый впервые оказался в таком значительном месте и, чтобы не оплошать, контролирует каждое свое движение, мучительно призывая на помощь смутные образцы хороших манер, виденные в каких-нибудь фильмах про благородную жизнь, где роли столбовых дворян исполняют томные внуки аптекарей и огородников. Когда мы пригласили его присесть за наш столик, он ответил нам коротким поклоном, которым в этих самых кинокартинах обычно заканчивают переговоры о месте поединка, секундантах и прочих дуэльных подробностях.

– Грибки-то мы с ребятами того... – виновато сообщил Арнольд, показывая пустую банку.

– Да ладно уж, – кивнул Витек и улыбнулся.

– Давайте за встречу! – предложил Стас.

– Надюха! – Я ухватил за кружевной передничек пробежавшую мимо официантку.

И тут я снова должен сделать отступление. (Между прочим, их будет впредь довольно много, поэтому читатель, любящий прямоезжие сюжеты, может сразу отложить это сочинение.)

Надюхе, самой молодой официантке в ресторане, было лет двадцать пять, и она обладала всеми тремя основными признаками женской привлекательности: большими глазами, большой грудью и большим задом. При этом фигура ее оставалась достаточно стройной, а волосы радовали взор аккуратной парикмахерской курчавостью. Судя по тому, что в течение нескольких лет она частенько появлялась на работе с тщательно запудренным синяком под глазом, Надюха была девушка замужняя. Правда, в последние несколько месяцев никаких брачных отметин на лице не наблюдалось, и это наводило на мысль, что ее супружество распалось. Более того: в карих Надюхиных глазах возникло то загадочно-задумчивое выражение, которое всегда выдает томящуюся в одиночестве женщину. Не путать с насмешливо-призывным взглядом женщины, томящейся в браке! От прочих официанток она отличалась еще и тем, что обслуживала быстро, грубила вполсилы, а обсчитывала очень умеренно, не жалуясь при этом, что детское пальтишко в магазине стоит чуть не половину ее официантской зарплаты. Детей, кстати, у нее не было.

– Мальчики, – вздохнула она, глядя не на нас, а на кусочек свежего неба, видневшийся сквозь приоткрытое витражное окно, – пиво кончилось. Последний портвейн взял Закусонский. Остались шампанское и коньяк – очень дорогой!

Человеку, начавшему свою алкогольную биографию после гайдаровских реформ и с малолетства привыкшему к изобилию веселящего зелья везде и в любое время суток, эта возникшая у нас проблема может показаться надуманной. Но напомним, что описываемые события происходят как раз накануне спровоцированных мной, дураком, реформ, и мы, воспитанные справедливой, но суровой социалистической действительностью в духе жесткой борьбы за каждый децилитр алкоголя, восприняли эту весть спокойно. Коньяк, даже безумно дорогой,

в условиях разразившейся антиалкогольной кампании – это просто подарок судьбы. В конце концов расплатиться можно и завтра, оставив в залог на крайний случай часы или писательский билет. И чтобы закрыть тему, выскажу соображение, давно не дающее мне покоя. Перестройка лишила нас главного – жизненной цели. Создавая массу препон и преград перед пьющим человеком, социализм имитировал, пусть неумело, цель, а значит, и смысл жизни. Капитализм с его ломящимися от горячительных напитков витринами оставил нас один на один с леденящей онтологической бессмысленностью бытия. И нет ему за это прощения!

– Будем пить, что есть, – бодро сказал я Надюхе.

– Деньги, пожалуйста, вперед! – попросила она, продолжая рассматривать кусочек неба в окне.

– Надежда, ты же меня знаешь! – неуклюже возмутился я.

– Знаю, поэтому деньги, пожалуйста, вперед...

– Вперед так вперед! Будем скидываться. – И я полез в боковой карман с таким видом, будто у меня там филиал Госбанка.

Это была известная ресторанный уловка: ты задерживаешь руку в кармане, а ничего не подозревающий новичок вынимает деньги, после чего можно сообщить, что забыл бумажник в пальто, давая ему возможность потратиться. Сведущие в секретах застольного мастерства, Стас и Арнольд сделали то же самое. Так мы некоторое время и сидели, точно три мафиози: каждый сунулся в карман за стволом, но начать пальбу первым никто не решается...

– Будем платить-то? – нетерпеливо спросила Надюха.

Мы вопросительно посмотрели на Витьку.

– А у меня шуршиков уже неделю нет! – простодушно ответил он, совсем не смутившись тем, что наше знакомство начинается с прямого вымогательства. – Меня же со стройки уволили...

– Ну мужик пошел! – возмутилась Надюха. – В ресторан без денег идет, к бабе без...

Произнося все это, она почему-то глядела именно на Витьку, хотя и мы тоже были «без».

– Без гладиолуса! – подсказал Витек, ухмыляясь.

Надюха посмотрела на него долгим взглядом женщины, забывшей, когда ей в последний раз дарили цветы.

– Может, часами возьмешь? – поколебавшись, предложил я, глянув на свои «командирские». – Завтра принесу деньги...

– Бери, очень хорошие «котлы»! – поддержал меня Витек, уже начавший понемногу осваиваться.

Скажу сразу: отдать эти часы в залог мне было так же непросто, как папуасу оставить в колониальной лавке свой амулет – мумифицированную и ставшую священной погремушкой мошонку любимого дедушки. (Пошловато, но все равно надо запомнить!)

– Ну конечно... Сейчас! Куда их девать-то, часы ваши? Скоро магазин «Тик-так» тут откроем! – ответила она с той чисто бабьей сварливостью, после которой обычно следует согласие.

– А что это вы, собственно, грубите! – влез нечуткий Жгутович и все испакостил.

– Я грублю?! – возмутилась она.

– Ты, Надь, пока иди, – примирительно сказал я. – Мы посельсоветуемся...

Окатив нас взглядом, исполненным женского презрения, она отошла от столика, и Витек проводил ее жадным глазом. Некоторое время мы сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга, а потом Арнольд, крикнув, полез в рюкзак и выставил на стол литровую бутылку из-под венгерского вермута, наполненную жидкостью, по цвету напоминающей отработанное моторное масло.

– Это та самая «мараловка»? – уточнил я.

– «Амораловка», – поправил Арнольд, разливая по рюмкам – себе чуть-чуть, нам со Стасом побольше, а Витьку – граммов сто. – Тебе до краев. Ты молодой, у тебя еще вся печень впереди!

– Это не опасно? – покосился на рюмку Стас.

– Пока еще никто не умер.

Мы чокнулись и выпили. У настойки был вкус технического спирта, в который уронили кусочек селедки иваси с луком. Витек, опрокинув рюмку, замер, прислушиваясь к тому, как алкоголь теплой мышкой бежит вниз по пищеводу. В тот момент, когда мышка достигла желудка, он согласно кивнул.

– Лекарство? – морщась, спросил Стас.

– Настойка из маральных рогов, лучшее средство от рогов внутрисемейных, – разъяснил Арнольд. – Даже самый плевый мужик, как выпьет, места себе не находит, пока кого-нибудь не прищемит. У нас ее поэтому «амораловкой» и прозвали. Вы сегодня больше – ни-ни, а то резьбу сорвете.

– Предупреждать надо! – обиделся Стас.

– Не сердчай. Чуть-чуть полезно. У вас ведь с Витьком – разговор, а какой разговор без рюмахи?

– Да, разговор, – вздохнул я. – Значит, говоришь, выгнали тебя с работы?

– Ага.

– Да ладно, не чинись, расскажи, как ты на собрании бригадиром по трибуне колотил! – подсказал Арнольд.

– Бригадиром? – переспросил я.

– Бригадиром, – виновато кивнул Витек.

– М-мотивы? – не очень твердо потребовал Стас.

– Сука он!

– У-уважительные мотивы! – кивнул явно поплывший Жгутович.

Да я и сам почувствовал, как внутри зарождается и начинает пульсировать горячее беспокойство вполне определенной направленности. А бредовая идея сделать из Витьки мировую знаменитость вдруг показалась мне не такой уж глупой, но даже волнующе заманчивой, как первое прикосновение к незнакомой девичьей коже. Я глянул на Стаса: его бледные впалые щеки зарумянились, залысины запотели, а в глазах появилась похотливая целеустремленность. У Витьки на лбу тоже выступила испарина, и он своими толстыми пальцами пытался слепить из хлебного мякиша нечто женское. Арнольд же наблюдал за действием «амораловки» с тихой улыбкой юнната.

– Ну и что ты теперь собираешься делать? – спросил я у Витьки после некоторой паузы.

– А хрен его знает... – пожал он здоровенными плечами.

– Но работать-то надо!

– Наумиха моя тоже говорит – надо...

– Ругается?

– А то – пила двуручная!

– Цыц! О матери такие слова! – нахмурился Арнольд.

– Ну и какие у тебя, Виктор, планы? – Я постарался вопросом замаять возникшую неловкость.

– Не знаю, может, грузчиком в универсам устроюсь.

– Сопьешься! – покачал головой Арнольд.

– Сопьюсь... А может, к дядьке, к вам в Красноярск, подамся...

– Приезжай. Найдем тебе сибирячку! Знаешь, такую, с огоньком в одном месте...

По тому, как это было сказано, стало ясно: те несколько капель, что выпил Арнольд, тоже не прошли для него бесследно. Но с Витьком вообще творилось нечто невообразимое: он вдруг

побагровел и покрылся потом, словно минут двадцать пробыл в хорошо протопленной русской парной, нещадно обхлестывая себя дубовым веником с крапивцей. Да и сам я ни с того ни с сего вдруг ярко и остро вспомнил одну мою мимолетную подругу юности, которая в кульминационные моменты почему-то всегда раздражалась хриплым хохотом, по звуку похожим на тот, что издают «мешочки со смехом», продающиеся теперь во всех развлекательных магазинчиках. Меня тоже бросило в пот, и я исподлобья глянул на Стаса: он, нервно подергивая щекой, так лихорадочно листал свою записную книжку, словно кругом был огонь, а он забыл телефон пожарной команды.

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул Витек. – Приеду.

Я с укоризной посмотрел на Арнольда, а раздосадованный Стас даже пнул его под столом ногой.

– А с другой стороны, – спохватившись, покачал головой Арнольд, – мать одну бросать нельзя!

– Нельзя, – согласился Витек.

– А писателем ты стать не хочешь? – напрямки спросил я.

– Кем? – обалдел он.

– Писателем.

– Не-ет... У меня по русскому в школе три с минусом было. Да и то потому, что я учительнице картошку окучивать помогал...

– Это неважно! Писать тебе не придется, – решительно пообещал я под влиянием «амораловки».

– А что же тогда я буду делать?

– Ничего.

– Значит, писать не надо?

– И читать не надо! – захихикал Стас, оторвав страстный взгляд от незнакомки, одиноко пившей шампанское за соседним столиком.

– Чего? – не понял Витек.

– Он пошутил, – объяснил я.

– Они когда-нибудь тут в Москве дошутятся! – молвил Арнольд с угрюмой неопределенностью.

– Надо покумекать, – тихо ответил Витек и задумчиво обвел глазами наш стол, жалкий, как завтрак мусорщиков.

– Ах, это! – понял я. – Это пусть тебя не смущает. Такова писательская жизнь: сегодня густо – завтра пусто...

– А чаще что? – спросил Витек.

– Трудный вопрос. У кого как... Но у тебя деньги будут, много денег, потому что есть такой закон: чем писатель меньше пишет, тем больше у него денег!

– Значит, будешь миллионером! – хихикнул Стас и послал незнакомке пылкий взгляд, хотя надо было бы послать бутылку шампанского, ибо свою она уже допивала.

– Из заграник вылезать не будешь! – продолжал живописать я и, покосившись на Стаса, громко добавил: – А женщины! Какие женщины у тебя будут!

– Правда? – зарделся Витек.

– Правда! В Москве тоже девки с огоньком есть. Мало, но есть. Соглашайся, – посоветовал Арнольд. – Чего ты теряешь? У них свой интерес, у тебя – свой. Не понравится – пошлешь их на хрен... И к нам – в Красноярск!

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул Витек.

И одновременно с его словами в потолок громко выстрелила вторая бутылка шампанского, заказанная незнакомкой. Наверное, как я позже понял, таким образом провидение

хотело предостеречь меня от этого опрометчивого шага, впоследствии так дорого стоившего мне, да и всему нашему Отечеству...

Впрочем, настоящую цену тому давнему пари я узнаю, когда мы приземлимся в Шереметьево-2.

– Тогда по рукам! – засмеялся Арнольд.

Я во второй раз за один вечер, но теперь уже с куражистой уверенностью протянул свою ладонь для скрепления договора. Витек сжал ее крепко, но без членовредительства, а Арнольд накрыл наши руки сверху растопыренной пятерней. Ни руки Жгутовича, ни его самого в этот ответственный момент близости не оказалось. Он уже со свойственной советскому обольстителю непосредственностью сидел за столиком незнакомки и хлебал ее шампанское...

– Вот и славненько! – сказал Арнольд, вставая. – Очень хорошо, что все сладилось. А мне пора на паровоз. Вы только с «амораловкой» поосторожнее! Много – вредно. Гляньте: Жгутович – глиста глистой, а как вскобелился-то!

Лукаво усмехнувшись, он подхватил рюкзачок и направился к выходу. А я, глядя ему вслед, почему-то с будоражащей достоверностью вспомнил давний-предавний свой турпоход и одну крепенькую инструкторшу, научившую меня, школьника, ставить палатку за рекордные две минуты, а потом в этой самой палатке разъяснившую мне, возбужденному, несмышленому: то, что в туризме – абсолютный рекорд, в сексе – абсолютно не рекорд. Прав Арнольд: «амораловки» больше ни капли!

Тем временем к нам, чтобы собрать пустую посуду, подошла Надюха. Перешучиваться и кокетничать с безденежными клиентами не имело смысла, поэтому она хмуро и молчаливо складывала в стопку грязные тарелки, брезгливо косясь на понатыканные в них окурки. Склоняясь над столом, официантка невольно предъявляла нам свою вполне убедительную грудь. Неожиданно Витек схватил ее за руку и потянул к себе:

– Как зовут-то?

– Отпустите, – ответила она с томной строгостью.

– Отпущу – упадешь!

– Нахал...

– Пускай нахал – лишь бы пахал! – засмеялся Витек, и я подумал о том, что современная наука явно недооценивает нынешний городской фольклор.

– Я милицию вызову! – неуверенно пообещала Надюха.

– Позвонила я ноль-два – ноги сходятся едва! – поддал Витек.

– Скажите вашему другу! – Она растерянно глянула на меня.

– Отпусти ее! – приказал я, заметив, что возня у столика привлекла внимание хмурой метрдотельши, похожей на смотрительницу женской тюрьмы.

Витек неохотно выпустил руку, Надюха потеряла покрасневшее запястье, буркнула: «Дурак» – и, подхватив посуду, ушла. Мы проводили ее голодными взглядами. Первым опомнился, конечно, я:

– Давай сразу договоримся: ты ничего не делаешь без моего разрешения!

– Что ж, мне теперь и ляльку без вашего разрешения не зачать? – засопел Витек.

– Без моего разрешения – нет. Повторяю: ты должен меня слушаться, иначе эксперимент сорвется...

– Эксперимент... А я, выходит, кролик?

– Тебя это так смущает?

– В общем, нет... В нашей собачьей жизни кроликом побыть – это даже неплохо.

Он задумался и снова принялся лепить из хлебного мякиша форму, которую, если ее увеличить раз в сто, можно совершенно спокойно показывать на выставке современной скульптуры, назвав, допустим, «Женщина на изломе луча». Я тоже задумался, а точнее, под влиянием «амораловки» затомился воспоминаниями об Анке, о наших безумных ночах на даче

в Перепискино, о смуглом мраморе ее тела, с победной ненасытностью вздымавшегося надо мной, точно торс языческой богини над пьедесталом... Да, воспоминания – это разновидность некрофилии. К здоровой реальности меня вернул Стас, снова усевшийся за наш столик.

– А где Арнольд? – удивился Жгутович.

– Ушел на медведя, – объяснил я.

– Понял... Слушай, – страстно зашептал он, – у меня к тебе есть просьба. Поскольку ты все равно проиграешь, я бы хотел сегодня вечером в счет будущих прав использовать твою квартиру. Ты не возражаешь?

Произнеся это, он метнул нежно-обещающий взгляд незнакомке, приканчивавшей уже третью бутылку шампанского. В ответ она показала ему алчущий язык.

– В принципе не возражаю, – ответил я, – хотя это то же самое, как если б мне в счет моего будущего несомненного выигрыша захотелось бы вырвать несколько страниц из твоей «Масонской энциклопедии»...

– Ну ты сравнил! – возмутился Стас.

– А во что вы играете? – поинтересовался Витек.

– В жизнь, – улыбнулся я нашему простодушному другу и, снова повернувшись к Стасу, добавил: – Но даже если я, учитывая твое состояние, разрешу тебе воспользоваться моей квартирой, ты все равно не сможешь этого сделать...

– Почему это? – возмутился Стас, уловив в моем ответе недоверие к его потенциалу.

– Оглянись, эротоман ты хренов!

Он обернулся: в дверях стояла его жена, которую я заметил минуту назад.

– Она... она... видела, как я?! – прошептал он, мертвея, и показал глазами на незнакомку, манившую его к себе пустым бокалом.

– Не умирай, – успокоил я. – Она вошла, когда ты вернулся к нам.

– Фу-у. – Стас выдохнул, как подсудимый, которому в последний момент расстрел заменили пожизненной каторгой.

– Сам выпутаешься или помочь? – великодушно спросил я.

– Помоги!

Я встал, подхватил Стаса под руку и, широко улыбаясь, повел его к супруге. Она смотрела на нас, как пулеметчик смотрит на наступающие вражеские цепи, подпуская поближе, чтобы бить наверняка. Попутно мне довелось принять на себя пьяные объятия незнакомки, кинувшейся вслед ускользавшему от нее Жгутовичу. Бережно, но не без усилий усадив ее за столик, я догнал Стаса еще до того, как он успел открыть рот. Невинно глядя прямо в свинцовые глаза его супруги, я затараторил про то, что сегодня якобы имело место одно очень серьезное обсуждение моей новой книги и для меня жизненно важным было выступление ее мужа, славящегося своим безукоризненным вкусом и неописуемым красноречием. Вранье затягивает, и я рассказал, как после блестящего выступления Жгутовича в зале долго не смолкали аплодисменты и как потом я в знак благодарности пригласил его на ужин, естественно, все расходы взяв на себя. В этом месте я чуть не засмеялся. Я говорил все это без единой паузы, втискивая слово в слово, фразу в фразу так, чтобы перебить меня было невозможно. Я уверял, будто бы Стас каждые пять минут бегал в холл звонить домой, но линия была фатально занята, ибо наша Миусская телефонная станция, самая старая в Москве, построена еще до революции, а во время мятежа левых эсеров в 1918 году в нее угодил снаряд, и последствия этого сказываются по сей день, в чем мадам Жгутович могла собственноручно убедиться, не дождавшись звонка от мужа! Все это я тараторил до тех пор, пока не довел супругов до дверей и не выпустил на улицу, где обилие пространства позволяло разрешить им свой семейный конфликт в самых адекватных формах. Перед тем как вернуться к Витьку, я забежал вниз, в туалетную комнату, чтобы смыть пот, выступивший на моем лице от «амораловки» и изнуряющего вранья.

5. Покинутый мужчина

Когда я вернулся к нашему столику, там никого не было, а метрдотельша смотрела на меня как-то странно.

– А вот здесь парень сидел? – спросил я.

– Этот маньяк в нечищенных ботинках? – отозвался со своего места наблюдательный Закусонский.

– Почему маньяк? – удивился я. – Очень талантливый молодой писатель.

– Так уж и талантливый? – ухмыльнулся Закусонский.

Он, будучи настоящим критиком, твердо считал талант своей глубоко личной принадлежностью и наличие талантов у кого-либо еще полагал такой же нелепостью, как копыта у болонки.

– Этот твой молодой талант схватил Надюху и уволок...

– Куда?

– В грот любви! – обронил мерзавец Одуев, покидавший ресторан в обнимку со своей школьницей.

– Стишки ей читать будет, – добавил Закусонский с интонацией, в которой заключалась зоологическая ненависть ко всем жанрам литературы без исключения.

– При чем тут стихи? – разозлился я. – Он пишет... Ну, допустим, прозу...

– Ах, бросьте, – засмеялся Закусонский, подмигнув нашему ресторанному обходчику Гере, деликатно шакалившему возле столика, где, уронив голову между пустых бутылок, спала незнакомка.

Тем временем к столику приблизилась строгая метрдотельша:

– Учтите, если Надежда не вернется через полчаса, я переведу ее в посудомойки!

– А если она не виновата, если он насильник! – заступился за Надюху глумливый Закусонский.

– Так не бывает... Писатель, а такой ерунды не знаете! – отрезала метрдотельша.

Они не вернулись. Не вернулись ни через полчаса, ни через час... Они вообще не вернулись в тот вечер. Ресторан начал пустеть. Очнувшись, незнакомка допила шампанское, подкрасила губы и ушла, твердо печатающая шаг. Чурменев с иностранцами, нализавшимися совершенно по-русски, уехал догуливать в «Метрополь». Я прождал до самого закрытия ресторана, когда уже притушили свет и официанты принялись срывать со столов, будто одежды с пьяных женщин, скатерти и ставить стулья вверх ножками. Перебравших литераторов, выборматывающих что-то о своей неоцененной гениальности и безусловной слабости Достоевского как стилиста, под руки выводили на воздух, где они стояли и, пошатываясь, мучительно вспоминали свои адреса, чтобы сообщить таксистам.

Я взял со стола бутылку «амораловки», покрепче закрутил пробку, сунул в портфель и тоже вышел на улицу. Был теплый июньский вечер. В воздухе стоял нежно-металлический запах первой грозы, которую синоптики настойчиво обещали и которая, видимо, все-таки осуществилась, покуда я сидел в ресторане. Впрочем, что там гроза, некоторые умудряются революции в кабаках пересидывать! Опасаясь, что моя нетрезвость может заинтересовать дежурящих в метро милиционеров, я решил отправиться домой пешком. До моей 2-й Вздрыбленской, в ту пору еще носившей имя Командарма Тятиня, было полчаса ходьбы.

Я испытывал очень странные чувства. Прошло много времени, а я хорошо их помню. Если принять эзотерическую версию творившегося со мной, то мое плотное тело – иными словами, плоть – спокойным шагом, соблюдая все правила общежития и дорожного движения, перемещалось по вечернему городу в направлении Никитских ворот, правда, чересчур вни-

мательно разглядывая встречных женщин и девушек. Но мое эфирное тело желаний рвалось куда-то, точно юный кобелек с поводка.

«Проклятая “амораловка”!» – подумал я и стал шарить по карманам. Двухкопеечную монету я нашел, а вот найти исправный автомат оказалось значительно труднее: у одних были с «мясом» вырваны трубки, у других отсутствовали диски, третьи вообще напоминали вскрытые злоумышленниками небольшие настенные сейфы. Лишь много позже, ознакомившись с замечательной теорией этногенеза Льва Гумилева, я понял причину столь лютой ненависти моих соотечественников к телефонным автоматам. Видимо, наш народ, будучи исторически моложе, чем, допустим, англичане, в настоящее время переживает тот период, который у англосаксов ознаменовался движением разрушителей ткацких станков – луддитов. У нас же крушат телефонные автоматы: национальная специфика.

Но работающий аппарат я все-таки нашел. Сначала он безвозмездно сожрал мою монету. Но при второй попытке соединил меня абсолютно бесплатно.

– Алло! – отозвалась она ровным голосом и почти сразу.

«Значит, одна», – подумал я.

У нее была странная манера: она никогда не отключала телефон и даже в моменты самого захватывающего крещендо, услышав звонок, выскальзывала из моих объятий и брала трубку. Но в такие минуты голос у нее был прерывистым и говорила она очень коротко и сухо: «Да. Скорее. Я занята...» А потом она возвращалась ко мне, смеясь: «Соскучился?»

– Алло?! – еще раз сказала она, и в голосе послышалось раздражение. – Говорите.

А что я мог сказать? Все, что возможно, я уже сказал, и это не помогло.

– Да что же вы молчите, черт подери!

Разумеется, она сказала вовсе не «черт подери», но я не какой-нибудь постмодернист литинститутского разлива и никогда не путаю бытовую речь с литературной. Вообще Анка очень вспыльчивая.

У нее даже в наших литературных кругах одно время было прозвище Верная Рука. Это потому, что, когда ей вдруг казалось, будто кто-то на обсуждении рукописи или просто за пьяным столом говорил нечто подлое или просто несправедливое, она тихонько отзывала его в сторонку и, ничего не объясняя, вкатывала звонкую пощечину. Сдачи ей, разумеется, не давали: во-первых, женщина, во-вторых, красивая женщина, а в-третьих, дочь самого Горынина! Меня, кстати, она не ударила ни разу! Ни до, ни во время, ни после. А Анкой ее назвал отец, выросший в деревне, где в клубе чаще всего крутили «Чапаева», и молоденькая пулеметчица была его идеалом революционной женственности.

– Если это ты, – уже совершенно другим голосом сказала она, – то повесь трубку первым...

Я повесил трубку. И пошел домой. По дороге мое тело желаний совершенно обезумело: мне с большим трудом удавалось удерживать его на тугом астральном поводке, и таким образом я успешно избежал от самых разнузданных приставаний двух милых студенток и усталую домохозяйку с большой сумкой, из которой уныло свешивался зеленый лук. Наконец, почти у самого подъезда я чудом уберегся от опрометчивого и бесперспективного знакомства с немолодой, но юно намакияженной для вечернего выгула собаки дамой. Натягивая астральный поводок, мое тело желаний обнюхалось с ее остриженным под ягненка пудельком и вернулось ко мне, разочарованное.

Войдя в квартиру, я, не раздеваясь, присел к столу. В машинку была заправлена страничка с напечатанными неделю назад словами:

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ШИННОГО ЗАВОДА

Глава первая

Шины для диктатуры пролетариата

Проведя пальцем, я обнаружил, что бумага покрылась тонким слоем пыли. За историю шинного завода я уже получил аванс и давно эти деньги прожил. Впрочем, точно так же мной были получены и прожиты авансы за статью для журнала «Пионер» о закаливании холодной водой, чего сам я с детства не выношу, за стихотворное приветствие учащихся ПТУ съезду профсоюзов, за историю Кировской пионерской организации, за перевод поэмы Эчигельдыева «Весенние ручьи созидания» и не помню еще за что. Я никак не мог заставить себя написать эту в общем-то плевую чепуху, ибо во мне уже несколько месяцев клубился, все сгущаясь, роман, настоящий роман, главный, «главненький», прочтя который Анка поймет все и примчится ко мне внезапно, ночью, навсегда! Собственно, для того и существует литература, чтобы женщина, прочтя, плачущая и полуодетая, примчалась к тебе ночью – навсегда. Но и за роман, за «главненькое», сесть я тоже никак не мог, ибо оплаченная поденщина не пускала, висела на душе чугунной гирей. Писать настоящую книгу, когда на тебе висит пионерское приветствие съезду профсоюзов, – то же самое, что, не залечив случайный триппер, добиваться благосклонности Прекрасной Дамы, которую искал всю жизнь... (Фу! Пошло. Не запоминать!)

Вот в таком крайне буридановом состоянии я и существовал последнее время, маясь между халтурой и «главненьким». Кстати, о «главненьком». Появление этого словечка тоже связано с Анкой. Был такой популярный в ту пору анекдот. Женщина, родившая тройню, показывает младенцев журналисту в той последовательности, в какой они появились на свет. Дети лежат в мокрых пеленках, плачут – просят титьку, а она говорит: «Это – мой старшенький. Это – мой средненький. Это – мой младшенький...» – «А это?» – удивляется корреспондент, кивая на мужика в мокрых штанах, который лежит на полу и тоже плачет – просит бутылку. «А это – мой главненький!» – отвечает многодетная мать. Словечко перешло сначала в наш альковный язык, а потом Анка стала величать «главненьким» и мой будущий роман. Его я как-то в ночном разговоре с неосторожной искренностью назвал своей «главной вещью»...

В задумчивости я достал из портфеля бутылку «амораловки», взял маленькую коньячную рюмочку и налил граммов тридцать – не больше. Я был так расстроен, что забыл предостережение Арнольда, забыл о навязчивых эротических видениях, забыл о дурацком споре со Жгутовичем, об исчезновении Витька, забыл обо всем, – я налил себе совершенно автоматически, так вохровец, даже будучи на пенсии, в задумчивости делает движение, точно передергивает затвор винтовки. Да, по вкусу действительно похоже на водку, куда уронили кусочек селедки, скорее всего, иваси. Я выпил и несколько секунд сидел, прислушиваясь к тому, как напиток пускает в меня свои бесчисленные живые, горячие, волнующие корни. Потом я, как сейчас помню, вздохнул и по-йоговски задержал дыхание... Одно время я этим увлекался, но быстро понял: для русского человека йога примерно то же самое, что для индуса подледная рыбалка на Медвежьих озерах. Внезапно у меня страшно закружилась голова, а в следующую минуту я увидел всю историю шинного завода с такой отчетливостью, что даже различил капли пота, выступившие на лбу директора этого краснознаменного предприятия, когда, отрапортовав с трибуны съезда победителей об успехах, он услышал медленные слова Сталина: мол, конечно, шинный завод хорошо работает, но было б интересно узнать, почему же он не работает еще лучше. Я вдруг почувствовал, что мне остается самое малое – просто перенести внезапное озарение на бумагу. Не написать, а записать. Не сочинить, а сыграть по нотам. Я опустил пальцы на клавиши моей «Эрики» так, точно это были клавиши белого рояля, и сам я не обычный литературный халтурщик, но Ван Клиберн, исполняющий Первый концерт Чайковского. Талант – это безумие, посаженное в клетку разума... (Хорошо! Но, кажется, до меня это уже кто-то говорил.)

Я работал до шести утра, пробарабанив от восемнадцатого года, когда был открыт шинный завод, до главы под названием «На дороге в Берлин». Потом встал, сделал шаг по направлению к дивану и рухнул на простыни, как раненый Пушкин в снег...

6. В поисках утраченного Витька

Телефонный звонок пробивался к моему сознанию долго и настойчиво – так спасатели пробиваются к погребенному под лавиной человеку. Наконец, не открывая глаз, я нашарил трубку и прижал к уху.

– Спишь? – спросил бодрый Жгутович.

– Сплю...

– Значит, я тебя разбудил?

– Разбудил...

– Ну и хорошо – уже второй час...

– Я до шести работал... Чего ты хочешь?

– Ничего. У тебя кухня сколько метров?

– Шесть. А что?

– Так. Спросить, что ли, нельзя?

– Можно...

– Маловато...

– Мне хватает...

– Все равно маловато. Не умеют у нас строить. А ты, кстати, знаешь, что, по некоторым сведениям, масонство восходит к древним строителям Иерусалимского храма? Но это не доказано. А по новейшим сведениям... Нет, я лучше тебе зачитаю. Слушай! «Предками современных франкмасонов, носившими то же имя, были, несомненно, настоящие каменщики, и добавление к названию их ремесла слова “свободный” имело первоначально профессионально-ремесленное, а не социальное значение. Свободными камнями, в отличие от обыкновенных, назывались в Англии более мягкие каменные породы, вроде мрамора и известняка, употреблявшиеся для более мягкой, барельефной работы...» Улавливаешь?

– Что? – начиная просыпаться, уточнил я.

– Если б наши дома строили свободные каменщики, кухни были бы просторнее. Не говоря уже обо всем остальном!

– Тебя вчера жена тяжелым по голове не била?

– Ты что! Даже наоборот... У тебя, кстати, «амораловка» осталась?

– Нет, – соврал я.

– Жаль. Между прочим, масоны очень большое значение придавали различным магическим напиткам...

– Стасик, что с тобой?

– Ничего. Я просто вдруг подумал: а если ты выиграешь наше пари? Хотя, конечно, это невозможно, но я на всякий случай теперь решил перед сном читать страничку-другую из энциклопедии. Ты знаешь, безумно интересно. Подожди, я тебе сейчас про Тота Гермеса Трисмегиста прочитаю...

– Не надо мне читать про Тота Гермеса Трисмегиста! У меня нет времени... О каком пари ты говоришь? – поинтересовался я, осторожно перебирая в памяти обмылки вчерашнего вечера.

– Привет! Это тебя, наверное, тяжелым по голове ударили. Мы же с тобой поспорили...

– О чем?

– Как о чем! О том, что ты сделаешь из Витька знаменитого писателя.

– Я?

– Ты. Если не сделаешь, то твоя квартира поступает в полное мое распоряжение... Забыл?

– Обижаешь... А если сделаю?

– Тогда я отдаю тебе мою энциклопедию.

- Энциклопедию? А на фига мне твоя энциклопедия?
 - Не знаю. Ты же спорил... Или ты передумал?
 - Нет, не передумал. Просто уточняю детали, – ответил я, просыпаясь окончательно и вспоминая в подробностях вчерашний спор. – Если обещал, значит, сделаю... А где Витек?
 - Это у тебя надо спросить. Он же с тобой оставался!
 - Оставался. А потом исчез...
 - Как это исчез? Что-то ты крутишь! – молвил Стас с тем презрительным разочарованием, которое я ненавижу больше всего на свете.
 - Ничего я не кручу! Я как раз собирался его искать...
 - Найдешь – перезвони мне домой.
 - Почему домой?
 - Жена, пока «амораловка» действует, отгул взяла и меня тоже отпросила. Сейчас за шампанским побежала. А как ты отработал?
 - Пять глав, – гордо ответил я.
 - У тебя кто-то и сейчас еще есть? – завистливо спросил измученный моногамией Стас.
 - Почему ты так решил?
 - Ну, выражаешься ты иносказательно: пять глав... Я только три успел, – расстроился Жгутович.
 - Не горюй: на своем поле это очень хороший результат!
 - Мне тоже кажется. А у тебя точно «амораловки» больше нет?
 - Нет, конечно! Зачем мне тебя обманывать? – искренне ответил я, косясь на бутылку, где еще оставалось граммов восемьсот.
 - Ну ладно, пока, а то жена дверь открывает... – заторопился Стас.
 - Ты учти, женщинам нравятся длинные главы, – ехидно посоветовал я и повесил трубку.
- С трудом поднявшись, я побрел в ванную и долго стоял перед зеркалом, вглядываясь в свое бледное лицо и красные, воспаленные глаза. Вот влип! С таким же успехом я мог пообещать превратить Витьку в генсека. Прав классик: нельзя мешать напитокки... Больше всего в этот момент я был похож на лежавший тут же в мыльнице выдавленный тюбик пасты.
- Первым делом надо было срочно реанимироваться...
- В Доме литераторов, куда я доковылял через час, уже вовсю гудела благообразная дневная ресторанная жизнь: на спасительный огонек стягивались злоупотребившие вечор труженики пера. О, я знаю по себе: пробуждение их было ужасно! Помимо неизбежной головной боли, тошноты, диабетической сухости во рту, их терзало чувство похмельной безысходности и вдобавок чисто профессиональный ужас собственной бездарности и бесплодности. С самого утра они мучительно осознали, что жизнь так и пройдет все, в злоупотреблениях, без больших художественных открытий, а потом тяжко влачили в ЦДЛ, по пути ошарашивая транспортную общественность тяжким духом вчерашнего удовольствия. Но уже после нескольких рюмок водки, закушанных рыбной солянкой, где в золотисто-оранжевой лимфе плавают желтый полумесяц лимонной дольки и с самого дна таращатся иссиня-черные маслины, жизнь постепенно начала наполняться смыслом, думы обретать внятность, а литературные образы тесниться в голове, как гости в лифте. И вот человек, который всего полчаса назад просто не хотел жить, уверенно сидит за столиком, и на лице его играет мудрая улыбка тихого победителя жизни.
- Вторым делом я прошел в закуток к официантам, но Надюхи там не было. Мне объяснили, что она сегодня не появлялась, позвонила и сказала: на работу не выходит, потому что выходит замуж.
- За кого? – оторопел я.
 - Какая разница, – вздохнула немолодая уже официантка Рита, уставшая от одиночества и чаевых.

– Если она и завтра не выйдет, я ее даже посудомойкой не возьму! – добавила строгая метрдотельша.

Она-то после долгих уговоров и дала мне адрес Надюхи, жившей, как оказалось, в глухом спальном районе Москвы, названном в честь снесенной с лица земли деревеньки, где в прошлом веке обоз, тронувшийся из старой столицы в новую, останавливался на первую ночевку. Пробегая через ресторанный зал, я краем глаза заметил вчерашнюю незнакомку, уныло пившую минеральную воду. Лицо ее было абсолютно неподвижно, ибо при малейшем мимическом колебании толстый слой грима мог осыпаться прямо в тарелку с солянкой.

– Следопытствуешь? – сочувственно спросил меня уже приступивший к своим обязанностям обходчик Гера.

– Скорее да, чем нет...

Поколебавшись, я поехал по выясненному адресу. Хорошо, если Витек тоже забыл про вчерашний спор. А если нет? Обдумав по пути ситуацию, я решил так: используя все свое красноречие, убеждаю Витьку в том, что знаменитым писателем становиться ему не стоит. Потом звоню настырному Жгутувичу и сообщаю о нежелании Витьки участвовать в наших нелепых играх. Таким образом я сохраняю лицо и выпутываюсь из дурацкого спора...

Надюхин дом стоял на краю огромного оврага, и дальше начинались малюсенькие, точно разбитые лилипутами, огородики с сарайчиками, более смахивавшими на собачьи конурки. Стекла в подъезде были выбиты, лифт расписан однообразными непристойностями.

«Везде луддиты», – подумал я.

Дверь мне открыла древняя старуха, одетая в застиранную куртку строительного отряда с нашивкой «ССО Романтик-76». Переминаясь на пороге, я заглянул в глубь маленькой однокомнатной квартиры и увидел ту привычную бедность, которая копится всю жизнь, чтобы в конце концов прикинуться достатком.

– Здравствуйте! – сказал я.

– А? – переспросила старуха.

– Здравствуйте!! А где Надя?!

– Уехала, слава богу!

– Почему «слава богу»?!

– А?!

– Почему «слава богу»?!!

– Всю ночь спать не давали – как резаные... – И она показала рукой на комнату, где виднелась постель, истерзанная, точно в ней искали спрятанные бриллианты.

«М-да», – подумал я.

– Всю ночь на кухне просидела, – жаловалась старушка. – Тоже молодыми были. И пообниматься любили. Но чего ж криком-то орать? Прошлый-то мужик у Надьки, хоть и пил, не в пример тихий был... А этот сущий варнак прямо-таки!

– Витек?!

– А?!

– Витек?!!

– Он.

– А куда они поехали?!!

– К нему. В Мытищи. Замуж, сказала, позвал...

Повеселев, я отправился на Ярославский вокзал.

Задача моя явно облегчалась. Раз Витек решил обзавестись семьей, теперь ему, уж конечно, не до участия в нашем пьяном споре.

Мне всегда казалось, что Мытищи – это маленький подмосковный городок с утками в обмелевшем прудике, с кринками на выбеленных временем штакетах. Оказалось, это здоро-

венный город с дымящимися трубами, эстакадами, колоннами марширующих в баню солдат. Сойдя с электрички и оглядевшись, я понял, что, не зная Витькиного адреса, на худой конец хотя бы фамилии, отыскать его здесь будет невозможно. Но я все-таки решил попытать счастья и, выбрав в толпе мужика с рожей полиловее, расспросил его о дислокации мытищинских пивных ларьков. Конечно, в былые времена мне не хватило б дня объехать все точки, но описываемые события происходили в самый разгар антиалкогольной горбачевской кампании, когда большинство ларьков и павильонов были перепрофилированы на торговлю квасом и соками, а те, что продолжали нести янтарный свет пива в массы, были крайне редки и общеизвестны, как синагоги в стране, где так долго и настойчиво боролись с антисемитизмом, что к власти в конце концов пришли юдофобы. (Вряд ли пригодится, но все равно запомнить!)

Первая будка располагалась возле техникума, и очередь состояла в основном из лохматой, буйно гоготавшей молодежи. Вторая приютилась рядом с Бульдозеростроительным заводом имени наркома Первомайского, и вокруг нее толкались хмурые работяги в промасленных спецовках, как пиво водой, разбавленные трудовой интеллигенцией – в шляпах и с портфелями. Только третий ларек стоял в новом микрорайоне, где шло бурное строительство и горизонт был заставлен ажурными силуэтами подъемных кранов. Очередь – человек в тридцать – состояла из строителей, одетых в припорошенные кирпичной пылью робы, пластмассовые шлемы и измазанные цементом бахилы – такие, в каких был вечор Витек.

Я прикинул: если актив, подносящий пустые кружки, будет работать споро, если не подвалит ватага шпаны и не возьмет сразу двадцать кружек, если никто не поднимет скандал из-за недолива, а хозяйка в знак протеста не закроет ларек по техническим причинам, минут через сорок я напьюсь пива. Встав в конец хвоста и высказав задумчивые сомнения в свежести пива, я установил неформальный контакт с соратниками по ожиданию и втянулся в серьезный мужской разговор. Сначала поговорили о сравнительных качествах «Туборга» и «Гиннеса», о которых все участники обсуждения очень много слышали. Потом соскользнули на политику и пришли к единодушному заключению, что Мишка мужик в общем-то неплохой, хотя и с гнидовинкой, а вот его Раиса – очевидная бензопила «Дружба», хотя женщина, конечно, обстоятельная. Между делом я поинтересовался, не знает ли кто-нибудь Витька. И один дядька великодушно предложил мне на выбор трех Викторов, включая и своего родного брата, но все они мне не подошли. Ждать пришлось все-таки немного дольше, чем я планировал, потому что к хозяйке зашел сын-школьник, она выставила перед самым моим носом табличку «Перерыв» и минут десять отчитывала его за двойку по географии. Наконец я получил кружку мыльно вспененного пива.

– Моча-а! – жмурясь от наслаждения, подмигнул мне здоровый малый в красном пластмассовом шлеме.

– Определенно моча, – согласился я, блаженно отдуваясь после нескольких крупных глотков.

– А вчера совсем пить нельзя было! – сообщил он радостно.

– Ты местный?

– Угу...

И я спросил про Витьку. Он ответил, что отлично знает Витьку, рыжего, конопатого чальщика, неделю назад изгнанного с работы за ссору с бригадиром.

– А где он живет? – оживился я.

– Вон в том доме.

– Покажешь?

– Не-ет... Меня его мать не любит. Говорит – спаиваю. А моя жена Витька ненавидит. Тоже говорит – спаивает. Диалектика!

В конце концов он объяснил мне, как отыскать Витькину квартиру, и даже подсказал, что звонить нужно двумя короткими и одним длинным, потому что его мать жутко боится воров,

но глазка в двери у них нет: кто-то рассказал ей, будто по Мытищам ходит маньяк, который звонит в квартиру и, когда хозяин припадает к стеклышку, бьет в глазок шилом, крича при этом ненормальным голосом: «Спокойной ночи, малыши!»

На условный звонок дверь открыли, но беседовали со мной через цепочку. Сквозь узкую – сантиметра три – щель я мог разобрать лишь то, что это женщина и на голове у нее бигуди.

– Добрый день! – сказал я.

– Я Витькиных долгов не раздаю! – зло крикнула она.

– Я не за долгом...

– А зачем? – испуганно спросила она, и дверь начала медленно закрываться.

– Подождите! Я из стройуправления. Хотим Виктора на работе восстановить.

– А удостоверение у вас есть?

– Конечно! – Я махнул перед щелью, сократившейся до сантиметра, писательским билетом.

– Восстановите! Он же не виноват! – раздался звон отстегиваемой цепочки, что в этом доме, очевидно, означало высшую степень доверия к гостю.

Дверь распахнулась сантиметров на пятнадцать – как раз на длину второй цепочки. Я увидел, что Витькина мать еще сравнительно молодая женщина с белым круглым лицом, тонко выщипанными бровями и пышными формами.

– Вы уж восстановите! – снова попросила она. – Парень-то совсем с круга сбился. Дружки портят. Водка проклятая! А сегодня утром вообще какую-то шушундру в дом притащил – еле выгнала... Жениться собрались. А где тут жениться на двадцати пяти метрах? У меня самой хороший человек есть, непьющий, так я же его в дом не вожу!

– А невесту Надюха звали?

– Зачем мне знать-то? Я, может, сама – невеста!

– А куда же они пошли?

– Мне-то что? Я так и сказала: к себе жить не пушу. У меня тоже хороший человек есть...

Пусть живут где знают. С милым рай в шалаше... Так они, наверное, в шалаше!

Возле шалаша сидел, грустно обхватив колени руками, Витек. Кругом валялись несчетные пустые бутылки, грубо вспоротые консервные банки, обертки и огрызки, из чего можно было заключить, что в трудные минуты в этом шалаше отлеживается пол-Мытищ. Витек печально смотрел на сгущавшееся вечернее небо.

– А где Надюха? – спросил я.

– Убежала, – грустно ответил он.

– Почему?

– Сказала, что не шалашовка какая-нибудь по шалашам отираться...

– Правильно сказала. А ты потерпеть, что ли, не мог?

– Не мог! – с вызовом ответил Витек. – «Амораловка» проклятая! У меня внутри как помпа работает...

– Пройдет, – успокоил я. – А что она еще сказала?

– Сказала, что не для того с одним алкоголиком разошлась, чтоб с другим путаться. Да еще Наумиха моя со своим лимитчиком: я в дом не вожу, я в дом не вожу...

– Ты в самом деле на Надюхе жениться собрался?

– Нельзя, да?

– Зацепила?

– Животрепещущая девушка.

– Забудь о ней!

– Уже забыл, – уныло отозвался он. – А ты-то чего приперся?

– Прогуливался и решил тебя провести...

– Меня тоже всегда с похмелья на воздух тянет, – сознался Витек. – Стремность какая-то в организме, а походишь – отпускает... Но ты вчера хорош был! В писатели меня заманивал. Помнишь хоть? Телок мне заграничных наобещал... Или передумал? Я тоже однажды доехал до Пополамска и со сварщиком поспорил, что бухгалтершу за задницу ущипну, а утром передумал. Скандальная баба – всегда мне получку трешками выдает...

– И совсем даже не передумал, – внезапно возразил я. – Наоборот. Сегодня и начнем. Все у тебя будет – и деньги, и загранка, и женщины в ассортименте. Но про Надюху забудь! Женщина – это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с накрашенными глазами. Это – образ, стиль и уровень жизни. У тебя появятся такие женщины, что прохожие будут оглядываться... Потому что есть такие роскошные женщины, на которых смотришь и не веришь, что кто-то их раздевает!

– Ага, а одевать я их буду на какие шиши?

– Не волнуйся. У тебя будет слава, а слава и деньги всегда рядом ходят, как алкоголизм и цирроз...

– Ага, а слава откуда возьмется? От сырости?

– Нет, не от сырости. Ты будешь знаменитым писателем! Твое имя будет греметь! Кстати, как твоя фамилия?

– Акашин...

– Жаль.

– Почему это?

– Непронзительная у тебя фамилия. Понимаешь, чтоб люди сразу запомнили, нужно или имя иметь необычное, например Пантелеймон Романов, или фамилию почудней – Чичибабин, скажем... Но еще лучше, когда сразу и имя и фамилия странные. Например: Фридрих Горенштейн. А у тебя ни то ни се: Виктор Акашин... Хорошо хоть не Кашин. Ужас! С такими данными и в литературу соваться не стоит: читатель из принципа не запомнит. Я бы на твоём месте взял псевдоним...

– Чего?!

– Как твоё отчество?

– Семенович.

– Семенов. Нет, пошло... А маму как зовут?

– Галина.

– Галин. Нет, не годится. Не фамилия, а какой-то полиэтиленовый тюльпан... А если попробовать по названию города? Так часто делают. Виктор Мытищин. Вообще кошмар... Ладно, оставайся Акашиным. Как-нибудь выкрутимся, сделаем из тебя писателя!

– Ага, а как я буду писателем, если я писать-то толком не умею? Я ж тебе объяснял... Не-е, ничего не получится...

Я медленно обошел вокруг Виктора. Сломал себе веточку и, прицелившись, срубил верхушку у крапивного куста – х-х-эк!

– Ты меня вчера невнимательно слушал. Я понимаю: «амораловка», влечение – род недуга и так далее. Поэтому повторяю все с самого начала. Допустим, ты не умеешь писать. А кто умеет? Кто?! Хемингуэй застрелился, когда понял, что он всего-навсего раздутый критиками репортеришко. (Х-х-эк! – я срубил еще один кустик крапивы.) Рембо в девятнадцать лет плюнул на стихи и занялся торговлей. (Х-х-эк!) Гоголь понял, что вообще ничего не умеет, и сжег «Мертвые души». (Х-х – эк!)

– А что же мы тогда в школе проходили?

– То, что осталось! Бабель по двадцать раз переписывал каждую страницу. Станет человек, умеющий писать, переписывать по двадцать раз? И ты считаешь, все они умели писать? (Х-х-эк!) И потом, писать тебе не придется. Ты будешь только говорить... Говорить-то ты, надеюсь, умеешь?

– Смотря о чем... Я же ничего не знаю.

– По крайней мере, ты уже знаешь, что ничего не знаешь! А это немало! Те люди, которых ты вчера видел в ЦДЛ, не знают и этого. (Х-х – эк!) Они способны лишь раздувать щеки и повторять десяток-другой заученных фраз. Этим фразам я тебя научу. Это – пустяк. Через неделю о тебе заговорят. Через месяц о тебе начнут писать. – Войдя в азарт, я уже боялся, что Витек откажется от участия в споре, я мобилизовал все свое красноречие. – Через два месяца тебя станут узнавать на улицах. Через три ты будешь летать на международные симпозиумы в Париж и Ниццу, ездить на собственном автомобиле и, как от мух, отбиваться от таких женщин, по сравнению с которыми твоя Надюха – пособие по сексуальной безработице! (Х-х-эк!)

Я огляделся и обнаружил, что прилично-таки выкосил на полянке крапиву. И еще я вдруг подумал, что теплые черточки и пятна на белой коре стоявших вокруг берез не что иное, как не расшифрованная до сих пор письменность, и с ее помощью природа пытается рассказать нам что-то очень важное, но мы в нашей жалкой суете не понимаем ее великодушного порыва. «Неплохо», – подумал я и решил приберечь эти соображения для «главненького».

Я снова подошел к Витьку:

– Ты все понял?

– Туда-сюда... фифти-фифти.

– Витек, а ты, случайно, английским не владеешь? «О`кей», «фифти-фифти»... А то давай будем всем говорить, что ты сразу на двух языках пишешь, как Набоков?!

– Не-е, – засмутился Витек. – Это у нас на стройке студент подрабатывал. Я и запомнил...

– Ладно, тогда ограничимся великим и могучим. Но все это у нас с тобой получится, если ты будешь делать и говорить только то, что я скажу! Даже спать с теми женщинами, на которых я покажу!

– Нам однохренственно. А Надюха меня еще вспомнит!

– Согласен?

– О`кей – сказал Патрикей!

Я остановился, занеся прутик над маленьким нежно-матовым крапивеночком. Мне вдруг стало его жаль.

– А теперь ты можешь мне задавать вопросы. Любые!

– Любые?

– Любые...

– Зачем тебе-то этот эксперимент?

– Мне?

– Тебе.

Я стоял и разглядывал трогательно-зубчатый крапивный кустик, покрытый серебристо-стрекучими, похожими на младенческий пушок ворсинками. Чтобы ответить на вопрос, я должен был рассказать Витьку все. Про моего неведомого папу, про маму-машинистку, печатавшую за занавесочкой до глубокой ночи чьи-то кандидатские и докторские и верившую, что когда-нибудь перепечатает и мою диссертацию. Про то, как я сидел перед операцией в ее душевной многолюдной палате и она, уже зная, что ей не доведется печатать мою диссертацию, шептала бескровными губами: «По сорок копеек не соглашайся, по сорок копеек за страницу – дорого!» Я должен был рассказать о том, как с третьего раза поступил в университет и как меня любили однокурсники, сынки больших начальников, за то, что я в любое время суток мог достать водку. О том, как однажды после пьяной вечеринки гордая однокурсница, которая настолько мне нравилась, что я боялся дышать в ее сторону, сама напросилась со мной в койку. Она никак не могла залететь от нашего общего приятеля, а ей очень хотелось за него замуж, ибо его папа трудился ректором института торговли. Я должен был рассказать о том, как я

принес свою первую повестушку одному классику на отзыв. Он прочитал, похвалил и даже предложил напечатать ее под своим именем, выплатив мне пятьдесят процентов гонорара.

Я проплакал целую ночь и согласился. Я должен был рассказать ему об Анке, о том, как она, прекрасная и хмельная, хотела вскрыть себе вены маникюрными ножницами, чтобы доказать свою любовь, а через два дня выпшвырнула меня, как надоевшего щенка... Я должен был рассказать ему еще тысячу разных – важных и неважных – историй, событий, случаев, без которых жизнь другого человека, других людей всегда кажется утомительной массовой, фоном твоей собственной жизни, единственной и неповторимой, нежной и трепетной, как вот этот маленький крапивный кустик.

Я должен был объяснить, что, сделав из него, полудурка, знаменитого писателя, я смогу доказать всему миру, но прежде всего самому себе, нечто невероятно важное, такое неподъемно важное, чего не в силах доказать никто. Даже Костожогов... Впервые в бездарной моей жизни я буду не бумагомарателем, сочиняющим полумертвых героев, а вседержителем, придумывающим живых людей! У меня получится. Не знаю как, но получится! Вот оно, мое «главненькое»! А «Масонская энциклопедия» Жгутовича в этом споре такая же никчемная дрянь, как позавчерашний трамвайный билет...

– Значит, ты интересуешься, зачем мне все это нужно? – весело спросил я.

– Ага.

– Не вари козленка в молоке матери его!

– Чего? – оторопел Витек.

– А это первая фраза из тех, что тебе придется запомнить!

И я не стал срубать прутиком бедненького крапивеночка, я просто каблуком вдавил его в замусоренную землю.

7. Огонь, вода и фаллопиевы трубы

Когда я привез Витьку к себе домой, он совершенно ослаб: действие «амораловки» закончилось. Я уложил его спать в чуланчик-кладовку, где всегда у меня готова раскладушка для заночевавшего гостя.

– Спи, – напутствовал я. – И пусть тебе приснится, как ты гуляешь по Парижу с самой красивой женщиной. У тебя много денег. Ты знаменит. Спи!

– А можно, я с теми же деньгами по Мытищам гульну?

– Можно.

– О'кей – сказал Патрикей! – отозвался Витек и закрыл глаза.

Потом я решил повторить свой вчерашний трудовой подвиг, хотя в душе подозревал, что это было всего-навсего странным стечением психофизиологических обстоятельств, наподобие того, как испуганный собаками прохожий вспрыгивает на дерево, откуда потом не может слезть. Я махнул граммов пятьдесят настойки, подождал, пока начнется действие и соблазнительные мыслеформы слетятся ко мне, словно воробьи на горбушку. Потом, учитывая свой предыдущий опыт, глубоко вздохнул и по-йоговски задержал дыхание:

Владыкой стану мира я,
Лишь только сублимируя.

Однажды, немало лет спустя после всех этих событий, уже став популярным эпиграммушечником, я выступал на товарищеском банкете участников всеэсэнгового семинара психоаналитиков, и там это двустушище имело грандиозный успех. В меня даже влюбилась знаменитая и достаточно хорошо для доктора наук сохранившаяся психоаналитесса, с которой сразу после банкета мы поехали ко мне домой. «Завоеватель! – шептала она всю дорогу, прижимаясь ко мне. – Мой копыеносец!» Мы приехали. Затем был краткий постельный официоз, пресный, как кумырская лепешка, а потом всю ночь она читала мне главы из своего исследования «Незаживающий шрам нарциссизма» и выспрашивала, что я, будучи мальчиком, чувствовал, когда мама обещала мне отрезать палец, если я по обыкновенной детской привычке совал его себе в рот. Больше мы не встречались...

Удивительно, но «амораловка» подействовала – в тот вечер я снова ощутил в себе необъятные творческие силы и снова история шинного завода явилась моему внутреннему взору во всей своей дымной красе. Я потрудился до утра, намолотив страниц сорок. Мог бы стучать дальше, но заболели подушечки пальцев, да и действие «амораловки» подходило к концу. Остатки воображения я решил посвятить Витьку. Пока я работал, мне приходили в голову различные идеи, как превратить его в знаменитость. Должен сказать, наша писательская действительность изобилует случаями, когда слава выбирает и возносит на своих перепончатых крыльях таких умственных заморышей, что просто хочется плакать. Над подобными случаями я много думал, стараясь разобраться в блудливом механизме внезапного, ничем не оправданного успеха, и кое-что понял... Для начала нужно придумать Витьку легенду, как разведчику. Писатели – люди патологически завистливые, они не могут примириться с тем, что рядом с ними, по тем же улицам и переулкам, бродит гений, который учился в соседней школе, а потом работал в соседней редакции. Примирить их с этим фактом способно лишь сознание того, что гений приехал в Москву черт знает из какой глубинки. А еще лучше: родился от колхозницы, собиравшей в лесу грибы и изнасилованной медведем. (Запомнить!)

Конечно, я понимал, что Витек еще не готов к квалифицированному изложению легенды, и рассудил так: если его будут спрашивать, откуда он, разумнее всего с улыбкой отвечать: «Из фаллопиевых труб». Для особенно любопытных я придумал заснеженную красноярскую

деревню Щимыти, образовав название, как вы заметили, с помощью перестановки слогов в родных Витькиных Мытищах, которые расположены слишком близко от Москвы, чтобы из них вышел хоть сколько-нибудь стоящий литератор.

Вторая важная проблема – экипировка. Ведь писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос: почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем? Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма – ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие бредут толпы графоманов всех рас и народностей, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной шкаф. Первое, что бросилось мне в глаза, – торчавшая из кучи тряпья пятнистая штанина, похожая на фрагмент оголодавшей анаконды. Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части, где я по путевке бюро пропаганды читал стихи, посвященные Дню Советской армии.

...И я стою в почетном карауле,
Прижав к груди любимый автомат...

Вообще-то сначала у меня было совсем по-другому:

Стою и коченею в карауле —
И греет руки стылый автомат...

Но знакомый редактор, таскавший ко мне в квартиру веселых пэтэушниц и волооких продавщиц, строго заметил: такие строчки он напечатать не может, ибо советский солдат одевается государством так тепло и справно, что не может замерзнуть в самый лютый мороз. А сочетание «греет руки» подозрительно напоминает выражение «нагреть руки». Наконец, «стылый автомат» очень смахивает на постылый автомат, а это будет мгновенно отмечено недругами из Пентагона, денно и нощно отслеживающими политико-моральное состояние нашей армии. На вопрос, что же делать, он пообещал слегка поучаствовать в моем тексте. Стихи вышли через две недели в «Литературном еженедельнике» тиражом два миллиона экземпляров, да еще с моей фотографией. Когда я увидел, как он «поучаствовал», то чуть не заплакал. Я даже несколько дней носил темные очки: мне казалось, что вот-вот какой-нибудь военный, меня узнавший, подойдет и спросит: «Ну и где, чудило, твой любимый автомат?» Обошлось...

Я потянул за штанину, внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганный восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдыева, чьи стихи я переводил по подстрочнику: одно время ко мне таскал подружек заведующий отделом поэзии народов СССР, он-то и втянул меня в это, прямо скажем, прибыльное дело. Разумеется, ни кумырского, ни какого другого тюркского, равно как и финно-угорского или романо-германского языка я не знал, но по подстрочнику можно переводить даже с древнеазотского, который, как известно, полностью утрачен. Делается это элементарно. В подстрочнике значится:

У моей любимой щеки, как гранат,
Лицо, как полная луна,
Тело, как свитки шелка,
Слова, как рассыпавшиеся жемчуга...

Задача поэта-переводчика – следовать, конечно, не букве, но духу оригинала:

Нас с Зухрою луноликой

Ночь укроет повиликой...

Помню, Эчигельдыев очень удивился, прочитав этот перевод своих стихов в журнале, так как не знал никакой Зухры и уверял, что повилика в Семиюртинске не растет, он даже не знал, что это за растение. К тому же он обиделся, заявив, что восточные девушки, в отличие от русских профурсеток, по ночам где попадая не шастают, а сидят дома. Однако халат он мне все-таки подарил, ибо публикация в московском журнале для национальных поэтов в те времена была чем-то вроде еще одной звездочки на фюзеляже истребителя. Между прочим, для самого Эчигельдыева эта публикация стала судьбоносной: его заприметили и взяли инструктором в Кумырский райком партии. Правда, после этого он окончательно порвал с любовной лирикой и с головой ушел в гражданственность. Его поэма «Весенние ручьи созидания» ждала своего часа на моем письменном столе.

Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориенталистичность. Внимание мое привлекла войлочная шапочка-сванка, подаренная мне грузинским критиком, которого я перепил на Днях литературы в Кутаиси. Мы выступали в винодельческом совхозе, а потом пили молодое вино, закусывая шашлыком и ведя ученую беседу о том, что грузинская культура гораздо более древняя и мудрая, нежели любая иная, а уж тем более русская, что Баратынский в подметки не годится Баратышвили, а если б Ван Гог увидел хотя бы одну вывеску Пироманишвили, он бы отрезал себе в отчаянии не одно ухо, а два и, возможно, даже – нос! Но сванку, после колебаний, я тоже отверг, опасаясь, что Медноструев примет ее за иудейскую ермолку – тогда конец всем моим замыслам...

Но вот следующую вещицу – черную майку с надписью «LOVE IS GOD» – я решил пустить в дело. Эту майку забыл у меня мерзавец Одуев, которому я за четвертак сдал на две ночи квартиру: его родители, работавшие за границей, как раз в ту пору приехали на побывку, а у него вдруг закрутился роман с рыжей страшненькой американочкой, до такой степени горячо интересовавшейся судьбами социалистического реализма, что идиоту было ясно – помимо статей об эстетических тенденциях советской литературы, она пишет и аналитические записки для соответствующего отдела ЦРУ. Впрочем, как говорили древние, что внизу, то и наверху, – Одуев тоже наверняка сотрудничал с КГБ, в противном случае хрен бы он оказался в одной постели с представительницей чуждой идеологии. В те времена такая поэтическая вольность могла закончиться печальным извием судьбы.

Я отложил майку и продолжил тряпичные раскопки. В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закавказского пастуха. Эту доху я выменял за бутылку московской водки с завинчивающейся пробкой (большая редкость в тех краях), когда летал на Гуцульщину по командировке журнала «Среднее животноводство», где в молочном отделе работал знаменитый Любин-Любченко – теоретик авангарда и практик андеграунда. Иногда он подбрасывал мне работенку – интересные командировки, но совсем не за то, что я разрешал ему водить в мою квартиру женщин. Нет, не за то! Он водил в мою квартиру мужчин.

А та командировка незабываема: Карпаты есть Карпаты! Мы очень хорошо посидели с ребятами-пастухами у костра: они мне полупшепотом рассказывали про Большого Иванку – местного «снежного человека», воруящего у них овец. А я им – про московское метро. В моем рассказе их больше всего поразило, что если в турникет бросить не пять копеек, а пятнадцать, то он тебя в метро не пустит, хотя, казалось бы, ты переплачиваешь. А весть о чудо-автоматах, разменивающих любые монеты на пятаки, повергла их в смятение. Уже засыпая, я слышал их удивленное шушуканье. Меня же поразило в услышанном тот факт, что Большой Иванка таскает не только овец, но иногда и женщин. Более того, «Большой Иванка» – это у гуцулов еще и ласково-уважительное обращение женщины к неутомимому мужчине.

Я положил доху на пол, присовокупил к ней остальное – десантные брюки, майку, – и получился довольно забавный силуэт. Но что-то надо было делать с ногами и головой, без чего, понятное дело, человек неполон. С ногами проще: я достал с антресолей пыльные малиновые полусапоги – их подарила мне Анка в пору нашего взаимного счастья. Вообще-то их купил себе, будучи с писательской делегацией в Амстердаме и польстившись на смешную цену, ее отец – Николай Николаевич Горынин. Но поскольку по программе пребывания на «шопинг» отводился всего час, а у него имелся еще длиннющий список, составленный Анкой и ее матерью, он купил сапоги на глазок, не примеривая, боясь потерять время и по возвращении получить внутрисемейную нахлобучку. А у страха, как известно, глаза велики: сапоги оказались тоже велики и ему, и мне. Но вот Витьку, по моей прикидке, они должны были прийтись впору.

С головой дело обстояло сложнее. Широкополую шляпу я отверг с ходу, ибо в ней было что-то извращенно-эстетское, вовсе не подходящее лесному гению из заснеженной деревушки Щимыти. Но и кожаная кепка с пуговкой на макушке, в просторечье «цэдээловка», тоже не подходила Витьку, ибо каждый самонадеянный графоман, срифмовавший за всю свою жизнь четыре строчки, норовил завести себе такую же. Я уже было после долгих колебаний решил оставить Витьку простоволосым, но тут мне попала на глаза забытая Анкой теннисная повязка с надписью Wimbledon. Анка очень прилично играла в большой теннис. Впрочем, почему играла? Она и сейчас играет с разными выпендрилами из дипломатического корпуса. На их сияющих башмаках никогда не увидишь даже капельки грязи. Они мне напоминают ходячих мертвецов, не отбрасывающих тени. (Запомнить!)

Теннисная повязка достойно увенчала мои поиски: вся экипировка теперь лежала передо мной на полу, похожая на человека, по которому проехал асфальтовый каток. С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум, – по словам. Слова-то для Витька мне и предстояло придумать. Я заправил в каретку машинки чистый лист бумаги и задумался: в голове ничего не было, кроме уже известной вам фразы про козленка в молоке, слышанной мной от Любина-Любченко.

На составление такого словарного минимума, с помощью которого начинающий гений мог бы свободно общаться с себе подобными, в обычном состоянии у меня могли уйти недели, если не месяцы, – ведь эта дюжина фраз (не больше) должна обнимать все оттенки мысли и чувств, вбирать в себя весь культурологический космос и культурный хаос. Да, задуманное мной было под силу, может быть, лишь великому русскому лингвисту и филологу Александру Ивановичу Бодуэну де Куртенэ! Но «амораловка», видимо, особым образом воздействует на те девяносто процентов нашего мозга, каковые, по уверениям ученых, спят, точно сурки, всю тяжесть интеллектуального труда спихнув на оставшиеся бодрствовать десять процентов. Вероятно, под влиянием «амораловки» эти «ленивые» проценты просыпаются и начинают вкалывать, как комсомол на строительстве Магнитки... Вскоре я уже бодро стучал по клавишам машинки:

ЗОЛОТОЙ МИНИМУМ НАЧИНАЮЩЕГО ГЕНИЯ

1. Вестимо
2. Обоюдно
3. Ментально
4. Амбивалентно
5. Трансцендентально
6. Говно
7. Скорее да, чем нет
8. Скорее нет, чем да
9. Вы меня об этом спрашиваете?
10. Отнюдь

11. Гении – волны

12. Не варите козленка в молоке матери его!

В итоге на составление лексикона у меня ушло двадцать минут. И все предшествовавшее развитие мировой культуры! Перечитав список выражений, я остался доволен: если б мне посчастливилось вступать в литературу, вооруженным этими двенадцатью фразами, моя судьба могла сложиться совсем по-другому. Впрочем, у меня еще все впереди!

Понятно, что пользоваться столь совершенным орудием общения без инструкции Витек не сможет. И, поразмыслив, напротив каждой фразы я нарисовал, как умел, по человеческой пятерне. Получилось что-то вроде азбуки для глухонемых: каждому выражению соответствовал определенный оттопыренный палец. Сначала, как говорят профессионалы, «задействовались» правая рука:

«Вестимо» – мизинец.

«Обоюдно» – безымянный палец.

«Ментально» – средний.

«Амбивалентно» – указательный.

«Трансцендентально» – большой.

Далее эстафету принимала левая рука:

«Скорее да, чем нет» – большой палец.

«Скорее нет, чем да» – указательный.

«Вы меня об этом спрашиваете?» – средний.

«Отнюдь» – безымянный.

«Гении – волны» – мизинец.

И наконец, указательный и средний пальцы, выставленные «рожками», или, иначе говоря, буквой «V» (символ нашей с Витьком грядущей победы над силами литературного зла), обозначали двенадцатую фразу: «Не варите козленка в молоке матери его!» Наблюдательный читатель, конечно, уже заметил, что мной пропущено короткое словечко под цифрой «6» (см. «Золотой минимум»). Все верно! Это словечко в писательском обиходе, особенно при неформальном обмене мнениями о качестве произведений товарищей по перу, используется с наибольшей частотой и выразительностью. Чтобы оградить моего незамысловатого Витька, знающего это слово с малолетства, от соблазна свести все богатство «Золотого минимума» к шестому пункту, я решил поставить на него своеобразную защиту, наподобие той, которую авиаконструкторы называют «защитой от дурака»: напротив соблазнительного словечка я нарисовал сразу две руки с двумя оттопыренными большими пальцами.

Работа была закончена... Но возбудившиеся девяносто процентов никак не хотели угомониться. Тогда я заправил в «Эрику» чистую страничку и, пользуясь остаточным действием «амораловки», стал добивать моих шинников. Последняя глава представляла собой задушевную беседу с директором завода. Ее мне пришлось сочинить от начала до конца, потому что диктофонная запись беседы с этим человеком являлась тяжким звуковым свидетельством неравной борьбы руководителя производства с нормами русского языка. А вот на бумаге разговор получился острый, глубокий, искрометный, и в конце директор мне рассказал даже о том, что узоры на белой коре берез, растущих под окнами его кабинета, напоминают ему еще не расшифрованный язык мудрой природы. Ведь она пытается докричаться до человеческой цивилизации, повернувшей свои рубчатые покрывки совсем не в ту сторону...

Окончание работы ознаменовалось звуком спускаемой в клозете воды. Этот звук у нас в доме напоминает нечто среднее между боевым кличем пьяного команчи и заводским гудком, которым в эпоху тотальной нехватки будильников рано утром поднимали на работу окрестный рабочий класс и трудовую интеллигенцию. Я оглянулся: в дверях стоял полупроснувшийся Витек в длинных и цветастых, как у волка из «Ну, погоди!», трусах. В толстых пальцах он механически крутил кубик Рубика – эта разноцветная головоломка всегда лежала у меня в туалете,

чтоб не давать восторжествовать тужащейся плоти над парящим духом. Сегодня кубик Рубика почти забыт, но в те времена гексаэдр с разноцветными гранями был чрезвычайно популярен. А еще в цветные квадратики я вписал весь алфавит, и при вращении буквы складывались в замысловатые словечки. Как известно, даже самое нелепое буквосочетание что-то да означает. «Абракадабра», например, по-древнееврейски значит «мечи свою молнию даже в смерть!».

– Трансцендентально! – воскликнул я. – Так и будешь ходить!

– Чего? – оторопел Витек.

– Трансцендентально – это хорошо, клево...

– Ништяк, – подсказал Витек.

– Да. Ништяк. Вот так и будешь теперь ходить с кубиком, и если кто-то спросит, зачем тебе он, ответишь: «Ищу культурный код эпохи...» Повтори!

– И-ищу к-культурный код э-э-эпохи... – неуверенно повторил он.

– Не хмурься! Улыбнись!

Витек озарился светлой улыбкой идиота, которому пообещали купить мороженое.

– Нет, не так! Ты не так должен улыбаться.

– А как?

– Как? – Я задумался. – Как...

В этой улыбке должны воссоединиться горечь бытия, мед воспоминаний, дерзость сердца и усталость души... Как? Я улыбнулся так, как мы улыбаемся, если на улице вдруг встречаем женщину, в которую когда-то были безумно влюблены, а теперь увидели ее расплывшейся, увядающей домохозяйкой с набитыми сумками в руках и гирляндой из рулонов туалетной бумаги через плечо.

– Понял?

– Вроде понял, – кивнул Витек.

После нескольких попыток у него получилось нечто подходящее. И тогда я приказал ему одеться.

– В это? – обиделся он. – Я не шаромыжник...

– Да, в это! Одевайся!

– Иди ты знаешь куда!

– Мы же с тобой договорились! Ты выполняешь все, что я тебе говорю!

– Надо мной же смеяться будут, – захныкал Витек.

– Это мы над ними смеяться будем, когда ты премию Бейкера получишь.

– Какую еще премию?

– Как-нибудь расскажу. Одевайся!

Он напялил на себя разложенную на полу одежду – и эффект превзошел самые смелые ожидания: передо мной стояла живая загадка русского национального характера и, тихо матерясь, разминала тесноватые сапожки.

– Разносятся, – успокоил я.

Обойдя Витьку со всех сторон и поправив на лбу алую ленточку с надписью Wimbledon, я отошел на несколько шагов и еще раз осмотрел моего питомца, щурясь и складывая губы гузочкой, как это делают на вернисажах некоторые посетители, подчеркивая таким образом свою причастность к миру искусства.

– Вращай кубик! Энергичнее! Ментально...

– Чего? – переспросил Витек.

– То, что надо, – объяснил я.

– Ты надо мной насмехаешься, что ли?

– Отнюдь...

– Насмехаешься, – помрачнел Витек. – Знаешь, я не хочу быть писателем. Я лучше назад... Бригадир – мужик отходчивый, возьмет. И Надюха тоже вроде не злопамятная...

– Не вари козленка в молоке матери его! – строго сказал я.

Еще вчера утром я бы с восторгом воспринял этот Витькин отказ. Но сегодня нет! Я уже вступил на тропу войны с идиотизмом жизни и смывать боевую раскраску не намерен. Я успокоюсь, только заполучив в руки кровоточащий скальп этой подлой людской несправедливости! Я успокоюсь только тогда, когда вся эта литературная сволочь будет лебезить и заискивать перед простодушным чальщиком, которого я снарядил в гении!

Взяв со стола листочек с лексиконом, я протянул его Витьку:

– Учи слова!

Он принял страничку и, медленно шевеля губами, начал читать по пунктам, оттопыривая при этом указанные в бумажке пальцы.

– Понял систему? – спросил я.

– Вроде понял...

– Давай проверим!

– Давай.

Я показал ему правый мизинец.

– Вестимо, – сказал он.

Я показал ему левый указательный палец.

– Скорее нет, чем да, – неторопливо сверившись с бумажкой, ответил он.

– Хорошо! Но учти: это я сейчас тебе пальцы к самому носу подставляю. При посторонних я буду делать тебе знаки незаметно. Знаешь, вроде как поигрывая пальцами... Давай порепетируем.

– Давай.

Я сел на диван в непринужденной позе и, похлопывая ладонью по подушке-думочке, неожиданно выставил правый большой палец.

– Транс... – скосив глаза в бумажку, забормотал Витек, – транс... детально...

– Транс-цен-ден-таль-но, – по слогам подсказал я.

– Транс... транс... дентентально...

Через полчаса он выговаривал это слово так, точно окончил Оксфорд.

– Молодец! Просто молодец! – подбодрил я. – Но учти: ты должен все это делать без шпаргалки, на память...

– О'кей – сказал Патрикей! – кивнул он.

– А как тебе вообще моя система? – с плохо скрытой гордостью спросил я.

– Говно! – не глядя в лексикон, бухнул Витек.

Я взвился с дивана:

– Запомни раз и навсегда: это слово ты никогда не должен произносить без команды! Никогда! Команда – два больших пальца! Не один, а два. Запомни! Порепетируем. Допустим, тебя кто-то спрашивает: «Виктор, а как вы относитесь к прозе Чурменьева?» Сказав это, я резко выставил вперед два больших пальца.

– Говно! – ответил Витек, почему-то произнося «г» на украинский манер, отчего слово звучало еще обиднее и неприличнее.

– Молодец! – похвалил я и медленно повернул пальцы вниз.

– А это что значит? – спросил он.

– Так римляне приказывали гладиаторам добить жертву. Но это можешь не запоминать – тебе не понадобится. Иди мой руки, будем завтракать!

8. С кем вы, подмастерья культуры?

На следующий день я повез экипированного и обученного Витька в Дом литераторов. В метро пассажиры оглядывали Акашина с недоумением. Из этого я сделал вывод, что одел моего воспитанника именно так, как надо!

Если вы спуститесь в московское метро и доедете до станции «Баррикадная» (революции нужны хотя бы для того, чтобы давать названия станциям и площадям), а потом, поднявшись наверх по эскалатору и оказавшись в городе, повернете налево и пересечете ревущее, пропахшее выхлопными газами Садовое кольцо, то окажетесь в самом начале Большой Никитской, бывшей улицы Герцена. Точнее сказать, вы окажетесь в самом ее конце, ибо начинается она с противоположной стороны, почти от кремлевских стен. А если вы пройдете по улице Герцена буквально несколько шагов, то очутитесь возле массивных дверей, выполненных в министерском стиле пятидесятых годов. Теперь рядом со входом укреплен табличка:

КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Но в ту пору там была другая вывеска:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ
ИМЕНИ А. А. ФАДЕЕВА

Надо ли объяснять, что, если у тебя нет писательского билета, в этот храм литературы ты просто так не пройдешь! Кстати, первый раз меня провел в ЦДЛ Костожогов, но я только потом узнал, что это был именно он. Я маялся возле дверей и вдруг услышал вопрос:

– Хотите зайти?

Вопрос задал невысокий человек, одетый с той аккуратной заурядностью, которая забывается через минуту, и, если даже следователь по особо важным делам будет тебя потом пытаться, во что же все-таки был одет тот человек, ты никогда не вспомнишь. Впрочем, одна деталь осталась: у него был вытершийся кожаный портфель с ручкой, обмотанной синей изоляционной лентой...

– Нет, я жду друга! – самолюбиво ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.

У него было очень странное лицо – пергаментное, нездоровое, покрытое бесчисленными, очень мелкими и как бы ломкими морщинами. Это было лицо ребенка, вдруг узнавшего какую-то страшную тайну и под бременем этой тайны внезапно постаревшего. А вот глаза не состарились и остались яркими-преярыми. Я долго потом не мог понять, кого же он мне напоминает, а потом сообразил. Когда я был школьником, мы ездили с классом в Ленинград и там ходили в Кунсткамеру. Меня страшно поразил заспиртованный в огромной стеклянной банке младенец, у него тоже были серая, почти обесцвеченная, пугающе неживая кожа и широко раскрытые, абсолютно живые, яркие-преярыкие голубые глаза... Этот младенец потом мне долго снился. (Не запоминать!)

– Да ладно вам, – продолжая улыбаться, сказал Костожогов. – Пойдемте!

Администраторша, увидав меня, бдительно напряглась.

– Это со мной! – пояснил Костожогов.

– Вижу! А вы-то кто такой? – сварливо спросила она.

– Я? А, ну конечно... – Он стал, растерянно улыбаясь, шарить по карманам. – Неужели забыл...

На физиономии администраторши уже начало вырисовываться торжество вознагражденной бдительности, но тут Костожогов нашел свой билет.

– Проходите, – разочарованно разрешила она.

Мы вошли.

– Редко бываю. В лицо не узнают. Забыли... – словно извиняясь, объяснил он. – А вы первый раз здесь?

– Да.

– Кофе хотите?

– Хочу.

Мы вошли в буфет, который, как я впоследствии узнал, назывался «Пестрым», потому что стены были разрисованы литературными карикатурами и испещрены разными смешными строчками и эпиграммами.

У поэта Васи Муравлева
Не Пегас, а старая корова...

Или:

Если сидишь над романом, пупея,
Это уже не роман – эпопея!

Он посадил меня за столик, отошел к буфетной стойке и вернулся через некоторое время, неся бутерброды и поставленные на тарелку четыре кофейные чашечки: в двух был действительно кофе, а в двух других – коньяк.

– Угощайтесь!

Я выпил, Костожогов пригубил.

– Ешьте бутерброды, – посоветовал он, заметив мое смущение. – Стихи пишете?

– Да.

– Дело хорошее. Чтобы научиться понимать чужие стихи, надо обязательно попробовать писать самому. Хотите почитать?

– Хочу! – с вызовом сказал я.

– Читайте...

Минут сорок я, по-дурацки завывая, читал стихи, а он слушал не перебивая: в неудачных местах улыбался с каким-то совсем необидным сочувствием, а в удачных – вдруг на миг поднимал на меня свои яркие-преяркие глаза, а потом снова упирался взглядом в стол. Наконец я закончил и вопросительно посмотрел на него.

– Недурно. Вы человек способный. Но это ничего не значит. Дорога в ад вымощена не столько благими намерениями, сколько талантами. У человека, обладающего талантом, два пути – он может стать или подмастерьем дьявола, или подмастерьем Бога. Первое проще и доходнее. Второе – почти невозможно. И очень опасно.

– У Бога опасно? – удивился я.

– Да, именно так. Выбирайте!

– А третьей дороги нет?

– Есть, конечно... Не писать.

– А талант, значит, зарыть? – надменно полюбопытствовал я.

– Вы никогда не задумывались, почему самые красивые женщины уходили в монастырь?

– Почему?

– Потому что лучше зарыть талант в землю, чем распорядиться им неверно. Каждое неверное слово – пуля, выпущенная в чужое сердце. Когда писатель это осознает, он иногда берет револьвер и стреляет в свое собственное сердце... Ну, не расстраивайтесь! Я, наверное, немного сгустил... Вы сюда часто ходите?

– Первый раз.

– Извините, я, кажется, уже спрашивал об этом. Не ходите сюда больше! По крайней мере, до тех пор, пока не поймете, у кого вы хотите быть подмастерьем...

– А вы поняли?

– Понял. Но не сразу. Я очень долго соблюдал нейтралитет. Пытался. Но это долгая история... Если интересно, заезжайте как-нибудь ко мне в Цаплино. Я работаю в сельской школе. Представляете – деревянная, одноэтажная школа, у нас даже звонка нет. Когда наступает перемена, завхоз звонит в большой колокольчик. А возле школы огромный вяз, к которому французы привязывали лошадей, идя на Москву... Представили?

– Неужели еще есть такие школы?

– Есть. Приезжайте.

Он вынул из портфеля тонкую ученическую тетрадку, вырвал листок, написал адрес. Потом встал, пожал мне руку и ушел. Несколько минут я сидел в одиночестве, но тут ко мне подошел странный человек в лоснящейся замшевой куртке и, не отрывая взгляд от недопитого костожоговского коньяка, спросил:

– Вы вновь присовокупившийся?

– Скорее да, чем нет... – растерянно ответил я, не совсем понимая вопроса.

– Поспособствуйте коньячком!

Позже я навел о Костожогове справки и выяснил, что в юности он написал знаменитую поэму об обороне Царицына, и хотя, конечно, в обороне молодой поэт лично не участвовал, вещь удалась и была сразу включена в школьную программу. Автор получил за нее Сталинскую премию и орден. В старых учебниках под портретом так и написано: «Н. Костожогов, поэт-орденоносец». Он был знаменит, богат и страшно плодовит. Его стихи без конца издавали, переиздавали, читали с эстрады, по радио, даже пели... Его дача в Перепискино была самой большой, богатой и хлебосольной. Женат он был на популярной киноактрисе, игравшей в тогдашних фильмах боевых деревенских девушек, которые по ходу сюжета становились то певицами, то летчицами, а то и председательницами колхозов. Рассказывали, что жену ему нашел сам Сталин, предварительно удостоверившись в ее всевозможных положительных качествах. Костожогова прочили на место Фадеева, поскольку тот часто запивал и не справлялся с многочисленными обязанностями. И вдруг Костожогов исчез. Сначала вообще думали, что его посадили. Но потом выяснилось: нет, однажды утром он ушел со своей перепискинской дачи с чемоданчиком белья и связкой книг и обнаружился через некоторое время в глухом Подмоскovie в качестве обыкновенного учителя литературы цаплинской сельской школы. Это классик-то!

Тогда возникла версия, будто он застал свою жену то ли с самим вождем, то ли с кем-то из членов Политбюро, а жена вместо раскаяния, как говорится, рассмеялась ему в лицо. Ничего невероятного в этой версии, конечно, нет, тем более что как раз накануне Костожогову ни с того ни с сего вlepили еще одну Сталинскую премию. Но имеется все-таки некая странность. Жена очень переживала из-за его ухода, ездила к нему в Цаплино, умоляла вернуться, а когда он отказался – с горя запила, перестала сниматься и через несколько лет умерла. В опустевшую дачу въехал сначала какой-то песенник, а потом – Горынин, как раз прошумевший своей пьесой «Прогрессивка». Потом о Костожогове стали говорить то, что всегда говорят о литераторе, вдруг переставшем печататься, – «исписался». (Как будто писатель – это стержень от шариковой ручки!) Но вдруг в одном неприметном журнальчике появился его маленький рассказ о деревенской жизни, такой по тем временам необычный и вызывающе честный, что, несмотря на неприметность журнала, публикация вызвала целый шквал разгромных статей, а закончилось все снятием с должности главного редактора. Костожогова хотели сначала исключить из Союза писателей за клевету на советское село, даже термин такой появился – «костожоговщина», но потом пошел слух, будто писатель из-за жизненных обстоятельств попросту тронулся умом, и его оставили в покое. С тех пор он нигде не печатался и только изредка

бывал в Москве. Говорили, он приезжал на могилу жены, похороненной на Новодевичьем, и по старой памяти раз или два в год появлялся в ЦДЛ. Видимо, в один из таких приездов я его и встретил.

Честно сказать, разговор с ним произвел на меня такое сильное впечатление, что я решил последовать его совету: перечитал свои стихи и даже сжег больше половины. Я как раз собирался поехать к нему в Цаплино, чтобы своими глазами увидеть звонящего в колокольчик завхоза и вяз, к которому французы привязывали лошадей, но тут объявился Одуев и сообщил, что у него есть два билета на вечер «Поэты – флоту». Он предлагал, воспользовавшись билетами, пройти в ЦДЛ и хорошенько пообщаться... Я согласился. Когда мы все прилично набрались, я завел речь о Костожогове и о том, чьими подмастерьями мы все собираемся стать... Что же тут началось! Закусонский ржал, бодая меня в грудь головой. Одуев хохотал, вытирая слезы рукавом и приставляя к голове «рожки». А Неонилин, тонко улыбаясь, заметил, что исписавшиеся старперы любят морочить молодых конкурентов разговорами об ответственности писателя перед человечеством. Как известно, больше всех боятся заразиться венерической болезнью импотенты! На что пьянехонький Жгутович заметил: хотя он и не импотент, но тоже боится – из-за жены. Я поначалу обиделся и хотел даже уйти, а потом стал смеяться вместе с ними: какие, к черту, подмастерья! Наливай и пей.

В общем, к Костожогову я не поехал. А бумажку с адресом потерял – наверное, выронил где-нибудь...

С тех пор я стал ходить в ЦДЛ постоянно. И хотя, конечно, никто больше не предлагал провести меня внутрь, существовала масса способов перехитрить бдительных администраторш. Например, если дело происходило вечером, ближе к семи, можно было купить или даже просто выпросить пригласительный билет на встречу с каким-нибудь маститым автором или, скажем, на круглый стол «Образ передового рабочего в поэме семидесятых». Но, предъявив приглашение бдительной и очень скандальной старушке-администраторше, я шел, конечно, не в зал направо, а в буфет или ресторан – прямо, где и находил своих товарищей по литературному поколению, проникших сюда подобным же образом чуть раньше, но уже успевших напиться до состояния буйного самоуважения...

Сложнее, конечно, было попасть в Дом литераторов днем, когда буфет и ресторан уже работали, но в кабинетах и коридорчиках еще кипела литературно-административная жизнь, напоминавшая суету бригады реаниматоров вокруг коченеющего тела – назовем это тело для простоты социалистическим реализмом. (Не путать с русской литературой!) Но вот днем-то вас сразу же останавливали на пороге и строго спрашивали: «Ваш писательский билет!» Это теперь я гордо взмахиваю перед носом администраторши красной корочкой, а тогда я использовал массу уловок. Порой я просто называл фамилию кого-то из поэтов-бильярдистов, с самого утра толкавшихся с киями наперевес, играя в «американку». Но чаще я караулил, выглядывая из-за угла, пока в Дом не заглянет какой-нибудь известный мне литератор, например знаменитый менестрель-шестидесятник Перелыгин, исполнявший свои баллады не под гитару, как другие, а под виолончель, каковую всегда носил с собой. Он заходил в ЦДЛ почти каждый день, если, конечно, не был в заграникомандировке, и я всегда с нетерпением ждал появления этого великого человека, намурлыкивая про себя его знаменитую балладу «Принцесса и комиссар», на которой все мы выросли:

Принцесса вздохнула: ну, что же вы!
Принцесса вскричала: ну, что же вы!
Принцесса взмолилась: ну, что же вы!
Такой неуклюжий и кожаный...

Когда мы в университетской общаге под гитару вполголоса пели эту балладу, то чувствовали себя страшными вольнодумцами, чуть ли не антисоветчиками, ибо отлично понимали, кого автор имеет в виду под «зеленоглазой егозой принцессой» и, «как черт, кудрявым комиссаром с большим наганом на боку». Перелыгин, между прочим, был племянником наркома Первомайского, погибшего вместе с командармом Тягиным при странных обстоятельствах в тридцать восьмом году. Их автомобиль упал в Язу.

Впрочем, особое уважение мыслящей общественной прослойки замечательный менестрель снискал не виолончельными балладами и даже не своим родством с утопшим наркомом, а совсем другим способом. Когда Хрущев однажды вызвал к себе советскую творческую интеллигенцию и стал на нее кричать, топая ногами, у Перелыгина на нервной почве случилось расстройство желудка: ему казалось, Никита Таврический гневно смотрит и орет конкретно на него. Менестрель стремглав выскочил из зала, что было воспринято потаенной общественной мыслью как безумный в своей отваге протест против грубого вмешательства партии в художественно-творческий процесс. А Хрущев даже крикнул ему вдогонку: «Ага! Ну и вали к своим империалистам!» Об этом смелом поступке отважного менестреля писала тогда вся западная пресса. Потом, конечно, Перелыгин в длинном покаянном письме в ЦК объяснил подлинную причину своего выбегания из зала – и был прощен. Но общественность о письме не узнала, и оно долгое время хранилось в спецшкафу у Горынина, где я, пользуясь почти родственными отношениями, его нашел и прочитал, буквально захлебываясь слезами разочарования. Знаете, так мальчик растет, уверенный, будто его папа погиб, дрейфуя на льдине, а потом случайно узнает, что родитель просто удрал с чужой тетей... (Образно, запомнить!)

Итак, дождавшись Перелыгина, я минут через пять входил следом, называл его имя, объясняя бдительной старушке, что мне назначено время и я принес стихи, чтобы показать классику. Обычно это срабатывало, и меня пускали. Но однажды я жутко опростоволосился. Мой любимый менестрель не пришел: пел, должно быть, за рубежами, и я наобум назвал администраторше имя известного поэта-бильярдиста, который всегда был на месте, при своих шарах. Старушка вдруг зарыдала и сообщила, что панихида уже закончилась, тело увезли, но если я потороплюсь на Ваганьковское кладбище, то, наверное, успею проститься с покойным. Если не считать этого печального случая, описанный способ проникновения в ЦДЛ срабатывал довольно долго, до тех пор, пока компания молодых поэтов, заспорив о сравнительных достоинствах точной и ассонансной рифмы, не устроила классическую салунную драку с битьем посуды и разламыванием казенных стульев о головы оппонентов. С тех пор никакие ссылки на классика, назначившего тебе в ЦДЛ встречу, а тем более на какого-нибудь бильярдиста, не помогали. Пришло время искать новые подходы.

Я отрастил бородку-шотландку и стал канать под корреспондента Би-би-си, на ломаном русском языке объясняя, что должен... well... взять интервью... well... у одного писателя... окау? Называл я обычно фамилию того, чьи главы или заявления недавно читались по радио «Свобода»: за этим я специально следил. В глазах старушки, которая тоже, конечно, слушала радио «Свобода», вспыхивал огонек неистребимого русского инакомыслия, и, заговорщицки подмигнув, она меня пропускала. Это продолжалось довольно долго, пока не появилась одна новенькая старушка, как потом выяснилось, до пенсии преподававшая в школе английский. Она очень обрадовалась возможности пообщаться с природным британцем и обратилась ко мне на языке Байрона. Но я, не знавший в ту пору английский вообще, а немецкий – согласно школьной программе на уровне «майн брудер ист тракторист», несколько секунд растерянно хлопал глазами, а потом, сообразив, завопил: «Это есть провокация! Well... Вы из кей-джиби!.. Окау!» И убежал...

После этого происшествия мне пришлось сбрить бороду и освоить новый способ проникновения в Дом литераторов. Справедливости ради должен сказать, что способ этот придумал не я, а писатель Гуськов, который, потеряв по причине похмельной забывчивости свой писатель-

ский билет вместе с партийным, не спешил сознаваться: он боялся, что его тут же с радостью вычеркнут из очереди на новую квартиру. Опасения его были не напрасны, ибо в те времена, о которых идет речь, лучше было потерять все – здоровье, близких, память, невинность, совесть, чувство реальности, но только не партбилет. Потерю он скрывал довольно долго, а чтобы беспрепятственно проходить в ЦДЛ, обыкновенно надвигал кепку на глаза и скрипучим голосом говорил администраторше: «Я шофер писателя Гуськова». И его беспрекословно пропускали. Подсмотрев, я стал тоже выдавать себя за шофера Гуськова, а в ответ на удивленное замечание, что вчера-де был совсем другой шофер, я разъяснял, что у писателя Гуськова целых два водителя, работающих посменно – через день. Таким вот образом я довольно долго свободно захаживал в ЦДЛ в любое удобное время, пока однажды, в приливе снисходительной откровенности, не рассказал об этом хитром приеме своим безбилетным друзьям-поэтам, все еще продолжавшим выклянчивать у дверей лишнее приглашение на дискуссию «Положительный герой как социально-философская категория». Через неделю каждый второй человек, заходивший в ЦДЛ, представлялся шофером писателя Гуськова, и администраторши охрипли, в изнеможении стыдя и выгоняя бесчисленных самозванцев. Хуже всех пришлось самому писателю Гуськову, которого увез вызванный к месту скандала наряд милиции. На допросе он во всем сознался и написал в инстанции чистосердечное заявление о безнадежной утрате как партийного, так и писательского билетов. С ним обошлись на удивление мягко: по партийной линии вкатили «строгач», а по литературной – сильно пожурили на предмет недоброго примера, подаваемого творческой молодежи, но из списков очередников на жилье не вычеркнули, хотя квартиру дали не в Центре, как остальным, а черт-те где, с окнами на Окружную дорогу.

Впрочем, к тому времени, когда писатель Гуськов въезжал в новую квартиру, молчаливо посылая проклятия в адрес того, что впоследствии было названо командно-административной системой, у меня уже не было необходимости прикидываться то британцем, то инспектором пожарной охраны, то ревнителем рабочего романа – к тому времени я обрел собственный писательский билет. Я получил его благодаря Анке, точнее, благодаря ее отцу – Николаю Николаевичу Горынину, автору знаменитого, вошедшего во все учебники, антологии и переведенного на все сущие языки романа «Прогрессивка» («Progressivka»). До прихода в литературу Николай Николаевич работал начальником цеха на мебельной фабрике.

Я уже точно не помню сюжета, но, кажется, там шла речь о том, как рабочие, возмущенные тем, что администрация не желает модернизировать производство, но составляет липовые отчеты о несуществующем росте производительности труда, сначала отказываются от очередной прогрессивки, а потом, поорав, деньги берут, складываются и покупают на них новый станок с цифровым управлением. С таким же успехом они могли купить и баллистическую ракету. Но на эту невероятную в условиях системы жесткого распределения ресурсов развязку никто не обратил внимания, ибо у социалистической организации производства свои законы, а у искусства социалистического реализма – свои. Но, возможно, отец Анки проявил тут свойственную иным редкостным художникам способность заглядывать в будущее: ведь теперь, сбросившись, можно купить и станок с цифровым управлением, и баллистическую ракету, и даже завод, производящий эти самые ракеты...

По роману «Прогрессивка» было снято два фильма, поставлены куча спектаклей, опера, оперетта, балет и мюзикл. Горынин постоянно ездил за границу – туда, где выходил очередной перевод романа, осуществленный каким-нибудь прогрессивным издательством, симпатизировавшим, не задаром, разумеется, Стране Советов. Он получил с полдюжины премий «За оригинальность темы» в основном в тех странах, где проблема производительности труда совсем ушла из поля зрения художников слова, в своем большинстве сосредоточившихся на сексуальных аномалиях криминального характера.

Больше Николай Николаевич ничего не написал, если не считать передовых статей и докладов: он был третьим лицом в Союзе писателей, и у него просто не оставалось времени, так

как руководство литературным процессом – дело трудоемкое и чрезвычайно нервное. Думаю, руководить табуном мустангов, мчащихся по прерии, намного легче. Он ездил на черной персональной «Волге» и был на «ты» с ответработниками ЦК партии, включая видного идеолога Журавленко. Сосредоточенный на руководстве литературным процессом, о наших с Анкой отношениях Горынин не имел никакого представления. И вот однажды, засидевшись допоздна в ресторане, мы поехали к ней. Она сказала, что родители на даче, а в отцовском домашнем баре полно выпивки. Они жили в большом, затейливо выстроенном доме с консьержем, похожим на переодетого оперативника, и удивительным лифтом: на стенках не было ни единой, даже самой простенькой неприличной надписи. До посещения Анки я привык делить квартиры на две категории: обычные, размер и конфигурацию которых понимаешь, стоя еще на пороге. И прочие, встречавшиеся гораздо реже, размеры и конфигурация которых для стоящего на пороге человека остаются некоторое время загадкой. Но планировка и размеры квартиры, куда привезла меня Анка, остались для меня тайной даже после того, как я проплутал по ней добрых полчаса.

Анка обожала вести долгие разговоры о смысле взаимоотношений двух полов, сидя со мной в горячей ванне – а она у них оказалась в два раза больше, чем в моей квартире, да еще стены были выложены керамической плиткой с фривольными картинками. Там нас и застал Николай Николаевич, случайно заехавший домой. Когда он открыл дверь ванной комнаты – мы ныряли...

– Моешься, дочка? – спросил он, не замечая меня, словно я был большой губкой, сделанной в форме голого мужчины.

– Уже выхожу, папа! – невинно ответила она, нехотя вылезла, накинула халатик и отправилась вслед за отцом.

Лежа в теплой, пахнущей хвоей воде, я слышал весь их разговор, так как дверь была прикрыта неплотно.

– Я же просил – домой не таскать! – устало возмущался отец. – В доме столько дорогих вещей!

– Извини, папочка. Мы заехали выпить...

– Ты же обещала не пить!

– Прости, папочка, мы чуть-чуть...

– Коллекционное бордо не трогали?

– За кого ты нас принимаешь?

– Знаю за кого... Шабли шестьдесят восьмого кто в прошлый раз выдул?!

– Ты же знаешь, мы по ошибке...

– По ошибке... Что хоть за парень?

– Знакомый...

– Ну, хоть знакомый в этот раз – уже легче... Просто так или серьезно?

– Вроде серьезно...

– Тогда знакомь!

Мне пришлось тоже вылезти, обернуться большим полотенцем и представиться.

– Где-то я тебя, парень, видел, – задумался Горынин.

В своих свежеспущенных бакенбардах и массивных импортных очках он напоминал ученого енота.

– В ЦДЛ. Я поэт.

– Ну да, у нас теперь любой, кто хоть раз до блевотины в ЦДЛ нажрался, поэт. В наше время не так было...

– Папочка, в ваше время нужно было нажраться два раза, – заметила Анка.

– Я, между прочим, первый раз по-настоящему напился, когда мою «Прогрессивку» в Отчетном докладе съезду партии похвалили! – гордо сообщил Горынин.

– С горя? – спросила Анка.

– А-а-а! – махнул рукой отец. – Все бы вам насмешничать! Донасмешничаетесь когда-нибудь, плакать захочется... Печатался хоть где-нибудь, поэт? – Он пренебрежительно глянул в мою сторону.

– У него даже книга вышла! – важно сообщила Анка.

– Книга? – Николай Николаевич был искренне удивлен, потому что ни разу не водил в мою квартиру девочек. – Книга... Ишь, пулеметчик какой! Тогда давай к нам – в Союз писателей!

– У меня заявление не приняли.

– Почему?

– Сказали, одной книги маловато.

– Что значит маловато – у меня тоже одна книга. И у Грибоедова – одна! И у Гомера одна... Нет, у Гомера – две... Ишь, буквоеды, – одна книга... Не переживай – проконтролируем. Ладно, я поехал... Плещитесь! Мы тоже с женой поплескались, поплескались, а потом и зарегистрировались.

Через две недели я получил новенький, пахнувший краской писательский билет и побежал хвастаться к Анке.

– Поздравляю! – сказала она. – Но я больше люблю безбилетников...

Вскоре она вышвырнула меня из своей жизни, как надоевшего щенка.

9. Первый бал Витька Акашина

Итак, мы вошли в Дом литераторов. Я провел Витьку, небрежно взмахнув перед носом бдительной администраторши своим новеньким писательским билетом, для сохранности обернутым тонким целлофаном.

– Этот со мной!

– Издалека, наверное? – спросила старушка, уважительно оглядывая странно одетого парня.

Я незаметно показал ему правый мизинец, и Витек ответил:

– Вестимо...

Не зря мы тренировались почти два дня! У входа в ресторан я остановился и осмотрел помещение, как полководец осматривает на рассвете еще мирное, покрытое парным туманом поле, которое через несколько часов будет завалено окровавленными трупами и искореженным металлом. (У кого-то уже было, но все равно запомнить!) Должен заметить, ресторан у нас красивый – отделан мореным дубом, освещен огромной хрустальной люстрой, есть даже большой камин. Витек заробел, точно очутился здесь впервые: в прошлый раз зал был переполнен, скрыт в клубах табачного дыма, вибрировал от пьяного гула. Злые официанты с тяжеленными подносами, шипя на попадающихся под ноги посетителей, метались по залу, как куски масла по раскаленной сковородке. Другое дело сейчас: почти безлюдно, если не считать нескольких занятых столиков, где чинно шелестят серьезные разговоры. Официанты, похожие на шабашников, которым вовремя не подвезли раствор, бесцельно бродят от одного пустого столика к другому, поправляя таблички «Стол заказан». Почти сразу, что бывает только днем, к нам подошла суровая метрдотельша и, сняв табличку с одного из столов, разрешила сесть. Я больше чем уверен, если б мы сели за этот же стол, но без ее ведома, нас тут же согнали бы, строго проинформировав, что место зарезервировано для делегации объединенного союза зулусских писателей.

Мы сели, Витек отложил кубик Рубика и углубился в меню, иногда отрываясь и спрашивая, что же это такое, например, расстегаи, если они до смешного напоминают неприличное слово. А я продолжал внимательно изучать зал, проверяя первую реакцию на наше появление. На почетном месте, возле камина, обедал с двумя иностранцами Чурменев и, судя по доносившимся обрывкам разговора, объяснял им весь кошмар существования художника в условиях тоталитаризма. Заметив нас, один из иностранцев удивленно поднял брови, но в ответ Чурменев бросил что-то пренебрежительное. Сволочь! Неподалеку от автора «Женщины в кресле», полуприкрывшись свежим номером «Литературного еженедельника», с профессиональной чекистской рассеянностью пил минеральную воду плечистый парень из «наружки».

В другом конце зала дрожащими вставными челюстями пережевывала салат оливье знаменитая Ольга Эммануэлевна Кипяткова. Если составить антологию стихотворений, которые посвятили Кипятковой добивавшиеся ее расположения поэты, это будет увесистый том. Впрочем, если собрать стихи поэтов, добившихся ее расположения, выйдет двухтомник. Любопытно, что с возрастом ее интерес к молодым мужчинам не исчез, а лишь прихотливо видоизменился, о чем в литературных кругах ходили возбуждающие слухи. Приметив нас, она бросила на Витьку туманный взгляд жаждавшейся морячки. Ага!

Ближе к проходу старательно обедала известная литературная семья Свиридоновых. Это была абсолютно замкнутая эстетическая система: отец сочинял бесконечные романы, нудные, как завывания ноябрьского ветра. Жена писала на них восторженные рецензии под псевдонимами. Сын, драматург, делал инсценировки по этим романам и осаждал театры, требуя немедленной постановки. А заневестившаяся дочка, белесая оплошность генетики, обложившись словарями, переводила эти романы на основные зарубежные языки и рассылала по западным

издательствам. Вся семья поглядела на Витькину надпись «LOVE IS GOD» с таким откровенным равнодушием, что не оставалось никаких сомнений: вечером на семейном совете наше появление будет подвергнуто самому тщательному и всестороннему обсуждению.

Неподалеку от них широко обедал писатель Медноструев – бородатый человек в хромо-вых сапогах и тонких золотых очках. Он встретил наше появление тяжким взором, полным неизбывной обиды за обманутый евреями доверчивый русский народ, и даже сплюнул через левое плечо.

Заметил я и Закусонского, но он только глянул на нас и пренебрежительно отвел глаза, как опытная путана отводит глаза от задыхающегося пузанчика, с елкой на плече торопящегося домой.

Наконец, за резной колонной, в так называемом секретарском уголке, ответственно питались двое: Николай Николаевич Горынин и видный цеховский идеолог Журавленко, худой, остроносый человечек, похожий на честного ревизора из нудного советского теледетектива, разоблачающего подпольных цеховиков, которые строчат из государственного сырья левые модные панталончики. Счастливый мир, где самое страшное преступление – ограбление сбер-кассы и где даже матерый уголовник безнадежно сникает под пристальным взглядом проку-рора! Туда бы теперь – отдохнуть...

Журавленко и Горынин ели очень серьезно, видимо, обговаривая между блюдами акту-альные вопросы литературной политики. Ситуация в ту пору была непростая: вкусы и пристра-стия нового генсека с большим кисельным родимым пятном на лбу куда никак не прояви-лись, и оставалось не ясно, куда он загнет салазки стране в целом и литературе в частности. Поэтому главная мудрость идеологических работников в этой обстановке заключалась в том, чтобы не кукарекнуть прежде времени!

А у самого прохода, аккуратно на сквознячке, рискуя, что на их головы официанты уронят солянку, сидели четыре мужика, одетые в немодные, подзалоснившиеся костюмы и галстуки такой неутешительной расцветки, что даже при советском дефиците они висели во всех галан-терейных магазинах вечной бахромой. Мужики говорили что-то о поставках и недоставках, о квартальных и годовых планах, о «налике» и «безналике», о других вещах, чуждых и даже смешных творческому уху. Если бы кто сказал мне в тот миг, что буквально через два-три года эти занюханые барыги, эти серые деловые мыши превратятся в миллионеров, летающих похмелиться на Канары и покупающих дома в лучших районах Лондона, я бы расхохотался и ответил: мой милый, вы ошиблись, семинар сказочных фантастов закончился на прошлой неделе и победила новелла, в которой Красная Шапочка трактуется как человек нашей расы, серый волк как представитель тупиковой, агрессивной ветви эволюции, а лесорубы – как при-шедшие на выручку к нам из космоса братья по разуму...

– Прикинь, жратва под названием «тёща»! – заржал Витек.

– Не «тёща», а «тёша», – поправил я.

– Однохренственно, – ответил мой питомец и продолжил изучение меню.

Тем временем Чурменяев начал громко рассказывать зарубежным коллегам о новом течении в русской поэзии – «контекстуализме», главный эстетический принцип которого сфор-мулировал знаменитый Любин-Любченко: «Каков текст – таков контекст». Это новое дерзкое направление каждой строчкой, каждой рифмой, каждой метафорой бросало непримиримый вызов советской действительности. В качестве подтверждения Чурменяев нарочито громко, злоумышленно посматривая в сторону обедавшего начальства, продекламировал известные строки Одуева:

Как ныне собирается Вещий Олег
сисястой хазарке на буйный ночлег!

Николай Николаевич и идеолог Журавленко многозначительно переглянулись, на их лицах мелькнуло сложное чувство, его, несколько упрощая, можно выразить так: разрешат – убьем, а пока живи, гаденыш! Плечистый парень из «наружки» шумно перелистнул страницу «Литературного еженедельника», достал из кармана портсигар и положил его на край стола.

Вопреки моим ожиданиям, особого внимания никто на нас не обращал – не помогал даже вызывающий наряд Витька. Но тут, к счастью, появился обходчик Гера. Говорят, много лет назад его привел в ЦДЛ Михаил Светлов. Они познакомились в утренней очереди за вином, разговорились, и Гера пожаловался на ужасное самочувствие, а все потому, что вчера он умудрился смешать в своем бедном организме портвейн, водку, красное сухое, коньяк и тройной одеколон... «Разве можно мешать напитки!» – изумился Светлов. «Я эклектик», – грустно молвил Гера. Этот ответ привел знаменитого остроумца в восторг, он потащил нового знакомого обедать в ЦДЛ, всем его представлял и восторженно пересказывал их диалог в очереди за вином. С тех пор они не расставались, но Светлов к тому времени был уже неизлечимо болен и грустно шутил с официантками: «Принеси ты мне, голубушка, пива, а вот раков не надо, рак у меня уже есть». Он вскоре умер, но Гера так и остался существовать при ЦДЛ, как приبلудный кот, который вроде бы никому не нужен, но и выгнать жалко – привыкли... Жил он тем, что ежедневно медленно и печально обходил ресторанные столики, останавливался возле каждого и спрашивал бесцветным голосом: «Жрете, яствоеды?» При этом он смотрел на стол с таким выражением, будто имел серьезное намерение плюнуть кому-нибудь в тарелку. Ему тут же наливали, намазывали бутербродик, бегло интересуясь здоровьем и прочими совершенно неинтересными мелочами. Гера молча принимал дань, выпивал, закусывал и, смягчившись, отходил от стола, бросая вполне дружелюбно: «Благодарствуйте, чревоугодцы!»

В отличие от пошлых ресторанных пристава и халявщиков, Гера никогда без многократного приглашения к столу не присаживался и разговоров о литературе не заводил. Называл он себя скромно обходчиком. А когда его кто-нибудь спрашивал, согласен ли он с тем, что Мандельштам недостоин пить воду, в которой вымыл ноги Есенин, Гера пожимал плечами и отвечал: «Не ведаю. Мое дело – обход». И зимой, и летом он ходил в одних и тех же вытертых джинсах и замшевой курточке, залоснившейся до такой степени, что, глядясь в ее обшлага, можно было бриться. Кроме всего прочего, Гера был переносчиком новостей.

Осмотрев зал, Гера, как я и предполагал, двинулся в нашем направлении: официант к тому времени уже принес нам триста граммов водочки, селедку и тарталетки с чесночным сыром. Пока он расставлял все это, я заказал то же самое и для Геры. Прикинув будущий счет, точнее, «приговор», я решил, что, если оставлю свои «командирские» часы в экспортном исполнении под залог, уйти удастся без скандала. Особенно меня это не беспокоило, так как за историю шинного завода мне кое-что причиталось, а до этого можно было попытаться урвать в правлении материальную помощь. Огорчало другое: часы мне дала Анка после той первой ночи, которую мы пробезумствовали, точно два погибающих мотылька, нанизанных на одну сладостно-смертельную булавку. Анке же часы достались от отца, который, в свою очередь, получил их в подарок от командира Таманской дивизии, где его роман «Прогрессивка» знали и любили. На тыльной стороне была выгравирована петлистая надпись: «От благодарного личного состава». Принимая утренний подарок от Анки, я вспомнил, что уже видел именно эти часы на запястье у сына идеолога Журавленко. Сын окончил МГИМО, переводил ради удовольствия Генри Миллера и даже бывал на наших сборищах. Он собирался в длительную заграничную командировку в Лондон, а Анка собиралась за него замуж и спешно доучивала английский. «Жизнь дается только один раз, и прожить ее нужно там...» – любила говорить она. Но во время одной шумной цедэловской пьянки, буквально за неделю до свадьбы, жених неудачно сравнил «Прогрессивку» с «Тропиком Рака». Анка вызвала его из-за стола и отвела за колонну. Вернулся он с отбитой щекой и без «командирских» часов. В тот вечер Анка уехала со мной...

Гера подошел и устался на закуску.

– Жрем! – не дожидаясь вопроса, признался я. – Садись!

– Не имею подобного обыкновения, – глухо ответил Гера (с некоторых пор он почему-то стал изъясняться в стиле начитанного русского мастерового).

– Да ладно, пообедай с нами!

– Благодарствуйте. – Он сел и сосредоточился.

Я разлил водку и предложил выпить.

– Во здравие! – кивнул Гера и поднял рюмку, оттопыривая мизинец.

– Отнюдь! – брякнул передрессированный Витек, непроизвольно отреагировав на Герин правый мизинец.

Я укоризненно посмотрел на Акашина – он виновато потупился. Выпили, перевели дух, потеплели взорами и закусили селедочкой. Я сделал Витьку незаметный знак, он, с облегчением отложив вилку и нож, серьезно осложнявшие ему прием пищи, взял в руки кубик Рубика и, задумчиво уставившись в пространство, начал со скрипом поворачивать грани. Принесли борщ. Витек быстро выхлебал и снова вернулся к кубику. Гера ел степенно, показывая, что его эти странные манипуляции с гексаэдром, испещренным буквами, абсолютно не волнуют, однако было заметно, что любопытство в нем накапливается, как мышь в локонах злодейски отравленного Бонапарта. Дожевывая котлету, он наклонился ко мне и, показав глазами на Витьку, тихо спросил:

– Кто сей отрок?

– Гений, – вяло отозвался я.

– А кубик почто?

– Ищет культурный код эпохи...

Гера некоторое время сидел с непрожеванным куском во рту, соображая, потом сказал:

– Ищите и обрящите...

Выпили еще по чуть-чуть. Гера закусил хлебными крошками, которые тщательно смел со скатерти себе в горсть. Потом он неожиданно повернулся к Витьку и спросил:

– Откель же ты таков?

– Из фаллопиевых труб... – отлично среагировал Витек, продолжая вращать кубик.

– Сочинительствуешь? – начал помогаться Гера.

Я незаметно оттопырил большой левый палец.

– Скорее да, чем нет! – бодро ответил Витек.

– К славе взревновал? – продолжал допрос Гера.

– Скорее нет, чем да, – молвил Витек, быстро скосив глаза на мою руку.

– Трудненько будет!

– Амбивалентно, – озвучил движение моего правого указательного Витек.

– А испепелиться не боишься?

– Вы меня об этом спрашиваете? – удивился Витек, сверившись с моим дрогнувшим левым средним.

Гера невольно проследил направление его взгляда, но я забарабанил пальцами по скатерти, как бы отбивая популярный эстрадный ритм, а выражением лица продемонстрировал полную мысленную отдаленность от происходящего за столом.

– А испепелишься – тоже в обходчики пойдешь? – вдруг скрипуче-ревнивым голосом спросил он.

Расчет мой оказался абсолютно верным: Гера заволновался, почувствовав в Витьке потенциального соперника в борьбе за дармовую рюмку с закуской. Я стал соображать, как достойнее всего ответить на этот вопрос, – и повисла многозначительная пауза. Наконец я принял решение и незаметно показал Витьку «рожки».

– Не вари козленка в молоке матери его! – торжественно отреагировал он.

Гера от уважения помертвел. Потом посмотрел мне в глаза. Я выдержал взгляд, и он понял, что ему нужно делать, чтобы Витек никогда не стал его конкурентом. Он поднялся из-за стола, аккуратно промокнул салфеткой свои розовые губы и молвил:

– Благодарствуйте за снедь и пиво. Счастливо оставаться. Оповещу в лучшем виде...

– Покендра! – махнул ему рукой Витек, но, поймав мой недовольный взгляд, смутился.

Впрочем, Гера уже повернулся к нам спиной. Принесли кофе. Ужасный. Если ложку растворимого кофейного порошка бросить в ванну с горячей водой, напиток, полагаю, вышел бы лучше. Прихлебывая и морщась, мы наблюдали, как Гера продолжал свой традиционный обход. У каждого столика ему наливали и, очевидно, расспрашивали о нас. А судя по тому, как энергично головы стали поворачиваться в нашу сторону, Гера делал все возможное и невозможное, чтобы заинтересовать Витькиной персоной литературную общественность. И лишь деловые мужики не стали Геру ни о чем расспрашивать. Они налили обходчику полный фужер водки, потом, поплевав на купюру, приклеили к его лбу двадцать пять рублей и проводили дальше. Мимо секретарского уголка, зная субординацию, уже пошатывающийся Гера хотел пройти не останавливаясь, но его приблизили и хотя, конечно же, ничего не налили, тоже о чем-то спросили. Парень с «Литературным еженедельником» ему тоже, кстати, ничего не налил, но по-свойски угостил сигареткой, которую достал не из портсигара, а из обыкновенной пачки.

Дальше была моя очередь. Я приказал Витьку никуда не ходить, а сам встал из-за стола и, сопровождаемый любопытными взглядами обедающих, вышел из зала. Прежде всего я направился к строгой метрдотельше, которая на электрическом калькуляторе проверяла кипу накладных, а потом перепроверяла при помощи деревянных конторских счётов. Я виновато сообщил ей, что оставил бумажник в другом пиджаке, что деньги занесу днями, и снял с руки часы. Она посмотрела на меня уничижающе, молча выдвинула ящик стола и небрежно швырнула мои «командирские» в грудку самых разнообразных часов, где были даже карманные «Буре» начала века и золотые женские часы-кулончик. Потом я спустился в туалетную комнату и устроился у писсуара с урологической гримасой на лице. Через минуту рядом со мной вырос критик Закусонский. Он сердечно боднул меня в плечо, повинился, что не понял с самого начала, с кем имеет дело, и предложил упомянуть о Витьке в большой обзорной статье «Горизонты молодой литературы». Я обещал подумать. Место ушедшего Закусонского занял Свиридонов-старший, сообщивший, что скоро у его дочери день рождения и они были бы рады видеть у себя в гостях меня вместе с моим симпатичным гением... Следующим был Чурменияев. С вежливым презрением он сказал, что обедающий с ним мистер Кеннди, ответственный секретарь комитета по Бейкеровским премиям, интересуется, в каком жанре работает странный молодой человек, сидящий за моим столом.

– Он прозаик, – колебавшись, ответил я, сообщив, что так и не определился, к какому жанру прикомандировать моего Витьку.

– Надеюсь, он не соцреалист? – усмехнулся Чурменияев.

– Нет. И даже не постмодернист. Это сверхпроза.

– В каком смысле?

– Как объяснить, чтоб вы поняли... Представьте себе князя Мышкина, работающего врачом-гинекологом!

Не дожидаясь ответа, я застегнулся и вышел. В холле меня поджидала старушка Кипяткова, она ревниво разглядывала фотографии недавнего творческого вечера поэтессы Эллы Раматуллиной, вывешенные на специальном стенде.

– Что это за зверь с тобой? – кокетливо спросила Кипяткова.

– Гений, – скромно ответил я.

– Вижу – не слепая. Что он пишет?

– Прозу, – неуверенно сообщил я.

– Я хочу почитать!

– Это не очень удобно, – смутился я.

– Почему же?

– В его прозе слишком много эротики...

– Я так и думала! – прошептала она, и ее морщины по-девичьи зарозовели. – Это повесть?

– Роман! – наконец решился я, и жанровая будущность моего воспитанника определилась.

– Рома-ан... – нежно повторила старушка. – Тогда приходите ко мне обедать. Завтра. И роман с собой обязательно приносите! А я вам почитаю что-нибудь из мемуаров...

– Спасибо, Ольга Эммануэлевна, обязательно придем!

События разворачивались стремительнее, чем я предполагал. Главная рыбешка, плававшая еще в доднепрогэсовских водах, клюнула! Возвращаясь в ресторан, я увидел Витьку возле входа на мойку. Он разговаривал с Надюхой, нервно вытиравшей мыльные руки о грязный передник.

– Общаетесь? – спросил я.

– Ага, – ответил Витек.

– Чего вы его таким клоуном вырядили? – сердито спросила Надюха.

– Так нужно, – ответил я.

– Кому?

– Ему.

– Витек, тебе это нужно, да? – спросила она.

– Скорее да, чем нет... – без подсказки ответил он.

– Ну и дурак! – всхлипнула Надюха, закрыла мыльными ладонями лицо и убежала к своим грязным тарелкам.

– Жалко? – глядя ей вслед, спросил я.

– Жалко... – вздохнул Витек.

Когда мы уже выходили из ЦДЛ, меня догнала дежурная администраторша и сообщила, что кто-то хочет поговорить со мной по телефону. Я подошел к конторке и взял трубку.

– Привет, – послышался голос. – Это Сергей Леонидович. Узнал?

– Конечно!

– Совсем друзей стал забывать, – добродушно попенял голос.

– Дела...

– Да знаем, знаем, какие у тебя дела. Зашел бы!

– Когда?

– Да хоть завтра.

– Куда?

– В нумера.

– Зайду.

– Буду ждать тебя часиков в пять. И захвати с собой это... Что там твой новый друг накорябал?

– Роман.

– Вот – роман и захвати. Друга пока не надо... Ждем тебя, парень!

Я положил трубку. Что ж, рано или поздно это должно случиться. Пусть лучше рано. Сергей Леонидович был майором КГБ и курировал Союз писателей...

10. Вранье без романа

Когда мы воротились домой, Витек, обалдевший от обилия свежих впечатлений, завалился спать, а я целенаправленно хватил пятьдесят граммов «амораловки» и сел за историю Кировской районной пионерской организации: аванс я уже проел, но под расчет, кроме денег, мне пообещали еще и бесплатную путевку в хороший санаторий. Работа шла быстро: если порядочный современный прозаик черпает основную информацию из двухтомника «Мифы и легенды народов мира», то я извлекал оную из выданных мне заказчиками копий отчетов о проделанной работе. Сухие цифры о среднем привесе пионеров за летне-оздоровительный период и списки идейно-воспитательных мероприятий я расцвечивал своими личными воспоминаниями о незабвенном пионерском детстве, проведенном в лагере «Дружба», принадлежавшем макаронной фабрике и располагавшемся неподалеку от железнодорожной станции Востряково, на берегу речки со странным названием Рожайка. Единственное, что мне не удалось использовать в этом почти художественном тексте, так это мои сладкие воспоминания о случившемся именно в позднепионерский период жизни первом, внезапном всплеске моего подросткового либидо... А это как всплеск испуганного гадкого утенка, с шумом взлетевшего с озерной глади и еще не осознавшего своего превращения в большого похотливого белого лебедя. (Заковыристо, но запомнить!)

Я в ту пору уже писал стихи, чем и покори́л вожатую Таю, которая была старше меня на космогоническое количество лет – пять или шесть. Мне – четырнадцать, ей – под двадцать. Я помню, как мы после отбоя сидели в зарослях золотых шаров, только что распутившихся и возвестивших таким головокружительным образом о неминуемой осени. Я читал ей свои свежие, сочиненные под казенным пионерским одеялом стихи:

Чего же ты хочешь, женщина?
Чего же ты хочешь, женщина?
В моем интеллекте трещина —
Трещина поперек!
Из этой зияющей трещины
В глаза восхищенной женщины
Капает, капает, капает
Самый бесценный сок...
А руки дрожат от жадности,
Глаза потемнели от ярости,
А губы все тянутся, тянутся
В погоне за самым большим —
За тем, что хранится бережно,
О чем вспоминают набожно,
Что цвета кроваво-радужного, —
Так вот чего губы хотят!!!
И тянутся, тянутся – к трещине,
Все ближе, и ближе, и ближе...
Чего же ты хочешь, женщина?
Не любви же?..

Наверное, благодаря именно этим стихам мне удалось невозможное – я умудрился поцеловать вожатую Таю в крепко сжатые, пахнущие ароматическим вазелином губы. После этого она заплакала и сказала мне, что я очень хороший и талантливый мальчик, но она любит дру-

гого – физрука Сашу, накачанного прыщавого парня, щедро раздававшего подзатыльники зазевавшимся пионерам.

Я навел справки у осведомленных товарищей по палате и выяснил: после первой же вожатской вечеринки негодяй лишил Таю невинности, которая, вероятно, уже тяготила бедную девушку. Об этом он с удовольствием рассказывал всем, даже старшим пионерам. Услышав эту историю, я быстро охладел к Тае, подобно тому как романисты прошлого века непременно охладевали к своим героиням, если те утрачивали целомудрие до обязательной свадьбы, да еще не в объятиях главного героя, а какого-нибудь эпизодического проходимца...

Но стихотворение осталось, я долго считал его своей творческой вершиной и охотно в течение нескольких лет читал при каждом удобном случае, будучи уже студентом и тусуясь в компаниях таких же молодых поэтов. Это продолжалось до тех пор, пока однажды на одной из таких тусовок не появился начинающий критик Любин-Любченко – длинноволосый юноша с масляной улыбкой. И он, странно приобняв меня, заявил, что покуда еще не встречал в поэзии более точного и свежего описания орального секса. Я взглянул на свой шедевр осознанным взором и с тех пор никогда его больше на людях не читал.

Работа шла – спасибо «амораловке» – споро, и я лихо добрался до того места, когда пионеры-кировцы одержали внушительную победу на всесоюзном соревновании 1954 года, собрав самое большое количество металлолома для целинных комбайнов, – кстати, после этого соиздательного налета ничего металлического в Кировском районе нельзя было обнаружить даже с помощью миноискателя. Но зато к мерзнувшим в брезентовых палатках героям залежных земель отправились сделанные из этого железа комбайны и тракторы с трафаретными надписями: «Пашите, герои!» Думаю, лет через пять металлические обломки этих сельхозагрегатов собирала уже целинная пионерия, так как все следующее десятилетие на всесоюзных соревнованиях неизменно побеждали именно дети Казахстана, что, кстати, непосредственно сказалось на нынешней бронетанковой мощи суверенной Казахской Республики.

В этом месте я решил отдохнуть, тем более что мне нужно было как-то прореагировать на навязчивое желание общественности получить для ознакомления роман моего Витька. Нет, я все-таки правильно сделал, что объявил его мастером крупной прозаической формы, – стихи все время просят почитать. Роман же совсем другое дело. Опыт показывает: люди, как правило, успокаиваются, получив в руки увесистую папку – символ каторжного труда прозаика, и даже тесемок не развязывают...

Я полез на антресоли и достал оттуда шесть пустых красных папок, упакованных еще по-фабричному, вставленных одна в другую, как персонажи романов маркиза де Сада. Папки сохранились у меня с тех времен, когда я лет шесть назад служил в многотиражке 4-го автокомбината, называвшейся «За образцовый рейс». Работа была нудная: бесконечные заметки про езду без нарушений и дорожно-транспортных происшествий, про экономию горюче-смазочных материалов, иногда – портретный очерк, начинавшийся обычно словами: «Широкой мозолистой, испачканной в масле ладонью он потер свое усталое доброе лицо и – неожиданно – улыбнулся...» Один раз в квартал редактор выписывал на весь строчащий коллектив канцтовары, которые мы – четыре сотрудника – тут же по-братски делили между собой и уносили по домам, поэтому в редакции никогда нельзя было найти ни карандаша, ни чистого обрывка бумаги.

Итак, я достал с антресолей полдюжины папок и столько же стандартных упаковок машинописной бумаги – по пятьсот листов в пачке. Разорвав пачки и разъяв папки, я вложил в каждую папку по пятьсот чистых страниц и туго завязал тесемки трогательными бантиками. Теперь предстояло самое главное. Я вырезал из бумаги шесть квадратиков, размером с поздравительную открытку, и разложил их перед собой: роману нужно было дать название, а это – дело непростое. Например, назови я роман «Сквозь зори» – и литературная судьба Витька окончилась бы, не начавшись, ибо его сразу объявили бы бесцветным новобранцем многочис-

ленного отряда писателей, воспевающих нашу социалистическую действительность. Напиши я на этих квадратиках непонятное мне самому слово «Затеси» – и Акашин мгновенно будет причислен к ватаге писателей-деревенщиков, что само по себе неплохо, но ни один уважающий себя эстет не подаст ему даже мизинца, а в свете моих стратегических планов это никуда не годилось. Заголовок «И плюя на алтарь...», конечно, сразу же сделает Витьку видной фигурой среди чистоплюев-постмодернистов, но тогда ни один уважающий себя писатель-деревенщик, а тем более соцреалист, рядом с ним на собрании не сядет! Это тоже нарушало мои виды на Витькину литературную будущность...

Я полчаса бесполезно ходил по комнате, листал «Литературную энциклопедию», потом включил телевизор. Оперный толстячок, вдохновенно косоротясь, пел про заздравную чашу. Я убрал звук и налил себе еще чуть-чуть «амораловки», чтобы подогреть остывающий интеллект. Пока напиток не подействовал, в моей голове мелькнуло несколько бездарных названий, и вдруг откуда-то из глубин подсознания, как рыбешка, спасающаяся от хищника, выпрыгнуло на поверхность заветное сочетание. Ну конечно! Конечно: «В чашу»... Замечательно! Деревенщики увидят в этом явный намек на один из способов рубки избы, когда в нижнем бревне делается выемка, а в верхнем, наоборот, шип, что обеспечивает особую крепость и устойчивость сруба. А чистоплюи-постмодернисты и сочувствующие им усмотрят в этом нечто мусическое и мистериальное. В общем, неважно что: Любин-Любченко растолкует! Соцреалисты вообще ничего не поймут, что, собственно, от них и требуется... Итак, я вставил первый квадратик в каретку машинки и напечатал:

ВИКТОР АКАШИН
В ЧАШУ
РОМАН

Изобразив это на шести квадратиках, я приклеил их к папкам, которые, в свою очередь, рядком-ладком разместил на диване. И вот они лежали передо мной – новенькие, чистенькие, свеженькие, точно младенцы в роддоме, разложенные няньками перед тем, как нести их к мамашам на кормление. Налюбовавшись, я снова сел за машинку, ибо напиток Арнольда стучал мне в виски и требовал творчества. Следующая глава из истории Кировской пионерской организации называлась «Космонавт XXI века» и рассказывала о победе районных пионеров во Всесоюзном конкурсе «Хочу на орбиту!». Как все-таки тесна и непредсказуема жизнь! Оказалось, победителя этого конкурса – тринадцатилетнего Женю Северьянова – я знал. Точнее, знаю теперь. А еще точнее, я познакомился с ним, уже будучи эпиграммушечником на банкете, незадолго перед вылетом на Сицилию... Значит, в тот вечер, девять лет назад, сочиняя историю пионеров-кировцев, я понятия о нем не имел. Приехали. Нет, обязательно мне нужно запутаться во временных слоях, как в незнакомом женском белье! Ладно, черт с ним, с согласованием времени, эта история стоит того, чтобы ее рассказать!

Меня пригласили почитать эпиграммушечки на дне рождения какого-то крутого деятеля. Стол – персон на сорок – был накрыт в банкетном зале «Космоса». Пела Пугачева. Острил Жванецкий. Фокусничал Кио. Вставали увешанные орденами летчики-космонавты и со слезой говорили о замечательном их соратнике, человеке чуткого сердца и необъятной, как расширяющаяся Вселенная, души Евгении Антоновиче Северьянове, попросту – Северьяне, о его неопенимом вкладе в дело спасения отечественной космонавтики в годину тяжких реформ и угрожающих нововведений. Северьян, еще молодой мужик с ранней лысиной, скромно потуплял взгляд и умолял друзей: «Да ладно, ребята, чего уж там... На моем месте так поступил бы каждый». – «Нет, не каждый!» – вскочил седой космический генерал с двумя геройскими звездами на кителе. – «Эти новые толстосумы все на канарских баб тратят – а ты на людей! На наш советский космос!» И начались крепкие, до взрыда, мужские объятия.

Потом был мой знакомый имитатор, с которым я плавал по Волге, он в лицах изображал, как воскресший Сталин вызвал к себе Горбачева с Ельциным и строго спрашивал их, зачем же они довели до такого состояния страну, а те малодушно оправдывались. Мишка все твердил, что «процесс пошел», а Борька, кроме «эта... понимаешь ли...», так ничего ответить и не смог. Сопровождаемый одобрительными возгласами, диалог закончился коротким распоряжением генералиссимуса: «Лаврентий, расстрелять...» Следующим был я и сорвал бурные восторги, прочитав эпиграммушечку, сочиненную тут же и записанную на салфетке:

Всю жизнь, мужики, я стремлюсь неуклонно
К разверстому космосу женского лона...

Северьян встал, выпил со мной на брудершафт, обнял, после чего я почувствовал в своем кармане присутствие небольшого прямоугольного предмета, оказавшегося при более близком знакомстве пачкой денег. Сумма была приличная, даже несмотря на галопирующую инфляцию. Назад мы ехали в одной машине с хмельным полковником, видимо, не очень успешным, потому что он стал жаловаться, что хоть ему и удалось слетать в космос, но у напарника разыгрался простатит, и полет прервали, за это им дали не Героев, а всего-то по ордену Ленина. А потом я спросил его о виновнике торжества, и он поведал, что Северьян чуть было не стал космонавтом, но на последнем этапе у него что-то не заладилось со здоровьем, и его «ушли» в науку. Со временем он возглавил лабораторию искусственной гравитации – огромный ангар с центрифугой посредине. В этом положении его и застали реформы девяносто второго. Сначала честный Северьян, как и все, бедствовал, обивал пороги, просил денег у правительства, но тщетно. Ему отвечали, что космос – достояние всего человечества, и какая, в сущности, разница, кто запустит раньше, больше и дальше – мы или американцы. В конце концов он нашел выход – стал сдавать свой огромный, с автоматической терморегуляцией, ангар азербайджанцам, которые устроили там арбузохранилище, такое огромное, что почти каждый второй арбуз, продающийся в Москве, был оттуда, из лаборатории искусственной гравитации. В скором времени Северьян сделался очень богатым человеком: вилла на Кипре, «Мерседес», дети в Принстонском колледже, но он не забурел, как остальные «новые русские», а принялся помогать оставшимся без работы космонавтам и даже открыл в Звездном городке бесплатную столовую для голодающего научно-технического персонала. И все это – на свои кровные, заработанные. Вот такой он человек, Женька Северьянов, – подлинный герой нашего времени!

Я фактически уже заканчивал историю пионеров-кировцев, когда из чуланчика показалась заспанная рожа Витька. Я заметил, что у него, как у всех, кто работает на свежем воздухе, лицо и шея буровато-красные, а остальное тело молочно-белое.

- Здорово, голова писателя Акашина! – поприветствовал я.
- Здорово, стукач!
- Почему – стукач?
- Да все на машинке стучишь. Стук-стук-стук... Много настучал?
- На молочишко.
- А это что? – спросил он, увидав разложенные на диване папки.
- Твой роман.
- Иди ты! – заржал Витек и начал развязывать тесемки. – А почему «В чашу»?
- А почему тебя Витей назвали? – вопросом на вопрос ответил я.
- Чтоб с другими не перепутали, – после некоторых раздумий сообщил он.
- Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, – не отрываясь от пионеров, сказал я.
- А где роман-то? – оторопел Витек, заглянув внутрь и перевернув чистые страницы.
- А зачем тебе роман? Ты почитать хочешь?
- Отнюдь.

– И они читать не хотят. Так что не волнуйся!

Витек слопал банку свиной тушенки, закусив ее батоном белого хлеба, выпил чайник кипятку, посидел у телевизора, дождался окончания передач и снова ушел спать. А я, взбодрив себя глотком «амораловки», работал до тех пор, пока не поставил окончательную точку в том месте, где Горби со свежеповязанным вокруг шеи алым галстуком рассказывает затаившим дыхание пионерам-кировцам о своем колхозном детстве. Такой встречи, конечно, не было, но меня попросили...

Я уже укладывался спать, когда – в половине второго ночи – зазвонил телефон.

– Спишь? – спросил Жгутович.

– Почти... Чего нужно?

– У тебя точно «амораловки» не осталось?

– Точно.

– Жаль... жена просто извелась. Жалко смотреть. Все-таки не чужие.

– А ты без «амораловки» уже не можешь?

– Это мысль! Надо попробовать...

– А что ж ты про Витка не спрашиваешь?

– А ты разве не передумал?

– С чего это! Наоборот.

– Ну и как там наш Витек?

– Нормально. Все идет согласно графику.

– Да слышал уже. Все только и говорят, как ты с каким-то ряженым в ЦДЛ приходил, – уныло признался Стас.

– Цель оправдывает средства.

– Я думаю, эта цель тебе не по средствам. Ты все равно не выиграешь.

– История нас рассудит, – отозвался я, с надеждой посмотрев на папки, которые переложил на подоконник, освобождая диван для сна.

– А у тебя ванна новая?

– Не очень.

– Плохо. Я брезгливый.

– Я тоже...

– А ты можешь себе представить, оказывается, декабристы были все поголовно масонами. Может, они поэтому и разбудили Герцена? Кстати, прости, что я тебя разбудил!

– Ничего...

– Да что там декабристы! Пушкин оттуда же... Знаешь, даже Кутузов был масоном!

– А Суворов?

– Суворов вроде нет. По крайней мере, в энциклопедии об этом ничего не сказано. А о Кутузове есть. Вот послушай: «При посвящении в седьмую степень шведского масонства он получил орденское имя “Зеленеющий лавр” и девиз “Победами себя прославить”...»

– А ты какое масонское прозвище хотел бы получить? – спросил я.

– Издеваешься?

– Нисколько! Я бы тебя назвал «Звонящий по телефону, когда все нормальные люди уже спят»... Спокойной ночи!

После этого дурацкого звонка я долго не мог уснуть, ворочался, вставал пить воду, а потом как провалился... И мне приснилась Анка. Она сидела над Витькиным романом и запоем читала его, то хохоча, то плача, а то сладострастно оглаживая свою нежно напрягшую грудь, точно ей попадались какие-то жутко эротические места. Прочитанные страницы она разбрасывала вокруг, и пол в незнакомой комнате был устлан чистыми, белыми, как полевой снег, листьями...

11. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Давыдовичем

Утром, уже довольно поздно, я растолкал Витька:

– Вставай, вредитель!

– Почему вредитель?

– Потому что много спать вредно... Надо идти!

– Куда?

– За зипунами.

– За какими еще, на хрен, зипунами?

– В школе надо было учиться, а не собак гонять!

– Если б я в школе учился, разве с тобой связался бы?

– Вставай! И запомни: за зипунами Стенька Разин ходил в Персию, где и добыл себе персидскую княжну, которую потом утопил...

– Как Герасим – Муму? – оживился Витек.

– Примерно, – удивленно кивнул я: такая аналогия мне в голову никогда не приходила.

– А что на завтрак?

– Ничего.

– Как это – ничего?

– А вот так: денег нет. Поэтому пойдем за зипунами...

Витек оделся. Я еще раз с удовольствием оглядел его вызывающе народный облик, взял одну из папок и сунул ему под мышку, но, поразмыслив, отобрал: было в этом что-то противоестественное. Потом я усадил Витьку за стол, дал ручку и чистый лист бумаги:

– Пиши! В секретариат правления Союза писателей. Заявление. Прошу выдать мне материальную помощь в связи с работой над новым романом. Поставь крестик.

– Что?

– Распишись!

– Обожди, «секретариат» как пишется?

– Через «е».

– Везде?

– Дай сюда! – Я отобрал у него бумажку: автор гениального романа, делающий ошибки в каждом слове, в мои планы не входил.

Я отстучал заявление на машинке и заставил Витьку расписаться.

– Неужели дадут? – засомневался он.

– Если правильно попросить – обязательно дадут. Что такое социализм? Гигантская касса взаимопомощи. На этом и сторим...

Я сунул на всякий случай в портфель три папки, и мы пошли за зипунами.

Возле правления Союза писателей, расположенного в старинном особняке с осыпающимся фронтоном и табличкой «Дом охраняется государством», было оживленно: подъезжали и отъезжали черные «волги», литераторы поодиночке и целыми группами входили и выходили, хлопая большой дубовой дверью. Я пристроил Витьку на лавочке возле памятника Льву Толстому, который сидел в своем бронзовом кресле немой мемориальным укором этой муравьиной литературной жизни. Хотя муравьи всегда что-нибудь тащат в свою родную кучу, а писатели, наоборот, всегда норовят что-нибудь уволочь из правления.

– Никуда не уходи! – приказал я. – Крути «рубик». Если будут привязываться с разговорами, что отвечать – знаешь.

– Ищу культурный код эпохи?

– Молодец!

Намерения мои были просты, как голодное урчание в желудке: получить на имя молодого талантливого Акашина материальную помощь (на свое имя я уже два раза получал) и вызвать «командирские» часы: если не сделать этого в течение суток, в следующий раз по неписаному ресторанному закону не то что часы – золотой самородок под залог у меня не примут.

В приемной Николая Николаевича Горынина под надзором хмурой секретарши Марии Павловны (она, говорят, работала с ним еще на мебельной фабрике) толкалось человек пятнадцать писателей. По выражению лиц можно было сразу определить, какая надобность привела каждого из них сюда. Улыбчивая нервозность означала, что речь пойдет, как и в моем случае, о материальной помощи на творческий период. Если же на физиономии застыло плаксивое недоумение, то литератор прибежал жаловаться на хамство издателей. Строгая озабоченность – верный признак того, что писателю срочно понадобился автомобиль и он хочет попасть в список на приобретение машины вне очереди. Мрачная обреченность означала одно: человек решил просить квартиру и уже подготовил прочувствованный монолог о том, что невозможно писать полновесные художественные произведения в одной комнате с орущим младенцем или парализованным родителем. Я заранее знал ответ Горынина, выслушивавшего по десятку таких монологов за день. Он ответит, что Ленин писал свои бессмертные произведения на пеньке возле шалаша и не жаловался... Однажды, когда, в пору наших с Анкой отношений, я на правах будущего зятя распивал с Николаем Николаевичем на даче бутылочку, он объяснил: «Все просят... Но знаешь, кому дают?» – «Кому?» – «А тому, кто так просит, словно маму перед смертью кличет. Понимаешь? Большой талант нужен! Иной раз знаю ведь, что дурочку валяет, а ничего не могу поделать – сердце от жалости жмет...»

По моим наблюдениям, первенство в этом деле держал поэт с редкой фамилией Шерстяной, получивший таким вымогательским способом уже две комсомольские премии и одну государственную, поменявший, улучшаясь, три квартиры, каждый год бравший новенькую машину, а свою, еще не тронутую коррозией «старенькую», учитывая тогдашний автомобильный дефицит, продававший с большой выгодой. У него было совершенно особое выражение лица, точно его посадили на кол, но ему невероятным усилием удалось выдрать кол из земли, и вот в таком недоказанном, я бы даже сказал, насаженном виде он и пришел к своему писательскому начальству со скромной просьбой. Постепенно Шерстяной привык к этому выражению лица, не расставался с ним уже никогда и даже, говорят, спал с перекошенной физиономией, чтобы не терять форму. В приемной правления он буквально жил и работал: изредка доставал из бокового кармана блокнотик и, кривясь, как от боли, записывал туда пришедшие в голову строчки:

Как у тына
Два Мартына
Выясняли у трех Люб,
Кто из них
Которой люб?

Дверь открылась, и оттуда вывалилась разочарованная семья Свиридоновых. Ходили слухи, будто Свиридонова-старшего пригласили на симпозиум в Австралию. Случилось это так: его жена написала хорошую критическую статью об одном писателе, работавшем в «Литературном еженедельнике». Тот, как это и водится между интеллигентными людьми, в знак благодарности взял интервью у Свиридонова-старшего. Ксерокс интервью вкупе с тщательным английским переводом, выполненным дочерью, Свиридонов разослал во все мировые культурные центры, присовокупив разъяснительную записку о своей исключительно ведущей роли в советской литературе. Ключули на кафедре русистики одного австралийского университета, где искренне полагали, что в тоталитарной России все писатели, не успевшие эмигрировать,

давно уже переведены на землеройные работы. А тут вдруг – интервью! Получив приглашение из университета, Свиридонов пришел требовать, чтобы Союз писателей отправил в командировку и всю его семью, нажимая на то, что такое небывалое количество писателей в одной ячейке общества станет для австралопитеков самым убедительным свидетельством замечательного расцвета культуры в СССР и доказательством решительного превосходства советского образа жизни над западным. Однако по тому, с какими недовольными лицами Свиридоновы покинули кабинет, было ясно: валюту выделили только на главу семьи. Судя по обрывкам разговора, весь обиженный семейный подряд направился в партком – жаловаться на несправедливость Горынина. Вот ведь времена – было куда пожаловаться! Говоря стихами Одуева:

Нигде, кроме
Как в парткоме!

В освободившийся кабинет сразу попытался войти следующий посетитель – Медноструев. Он огладил свою кудлатую черную бороду, поправил на носу очки в тонкой золотой оправе и, осуществив на лице выражение плаксивого недоумения, двинулся к двери, но буквально в последний момент его опередил неизвестно откуда взявшийся Чурменяев, строго-престрого озабоченный.

– Pardon! – буркнул он, проскочив в кабинет перед самым медноструевским носом.

– Все куплено Сионом! – рявкнул ему вдогонку обиженный Медноструев и вызывающе посмотрел на тихо сидевшего в углу писателя Ивана Давидовича Ирискина.

Тот презрительно усмехнулся и демонстративно закрылся томом Шолом-Алейхема. Остальные же сделали вид, что их это не касается.

Иван Иванович Медноструев был известным в литературных кругах антисемитом, автором ходившего по рукам рукописного исследования «Тьма. Евреи против России». В этом труде вся отечественная история рассматривалась под этим весьма своеобразным углом. Медноструев считал, что евреи непоправимо виноваты перед Россией еще с тех былинных времен, когда Русь изнывала под алчным и беспринципным игом иудейской Хазарии, не говоря уже о последующих пакостях, учиненных этим неискоренимым племенем над доверчивыми славянами. Своих взглядов Медноструев не скрывал и когда, бывалоча, сидел с учениками и единомышленниками в холле Дома литераторов, а мимо бочком спешил писатель с загогулистой фамилией или просто неудачно крючковатым носом, Иван Иванович качал головой и говорил своим замечательно густым басом, при этом издевательски грассируя: «В р-русской литературе только два настоящих поэта – Веня Витинов и Бенья Диктов!» Вот какой это был субъект, настоящая Харибда литературного процесса, и будущность Витька во многом зависела от того, найду ли я с Медноструевым общий язык.

– Заполонили русскую литературу! – пророкотал Медноструев. – Присосались к сердцу народному! Выхолокостили историю!

– Этот Чурменяев обычный хам! – Я постарался перевести конфликт в невинную бытовую плоскость, осторожно косясь на упивавшегося Шолом-Алейхемом Ирискина.

– Вот-вот! Хам, Сим, Яфет... Все – оттуда! – подхватил Медноструев. – И дружок твой тоже оттуда!

– Какой дружок?

– Какой? Тот, что в кацавейке! Я еще давеча в ресторане приметил!

– Да вы что? Это же закарпатская доха! Исконно славянская форма одежды! – воскликнул я и похолодел от мысли, что мог нахлобучить на Витька сванку.

– А каббалистические знаки?

– С чего вы взяли?

– А вон! – Он кивнул в окно, где виднелся Витек, старательно вращающий свой кубик Рубика. – Я сразу приметил: буквы-то каббалистические...

– Да что вы такое говорите! Это обычный кубик Рубика, а буквы на нем наши.

– Что вижу – то и говорю. Значит, кубик Рубика? – Медностружев задумчиво почесал довольно большой шрам на лбу. – Рубик – Рубин – Рубинчик – Рабинович... Понял? И чтоб ты знал, «Протоколы сионских мудрецов» тоже русскими буквами написаны! Понял?

– Понял. А Витек-то мой при чем тут?

– А масть? Ты на масть посмотри! – настаивал бдительный Иван Иванович.

– Нормальная масть. Вы тоже не блондин!

– Я-то не блондин, а дружок твой – рыжий. И конопатый! Улавливаешь? Фамилия-то как у него?

– Акашин.

– Во-от! С этого бы и начинал! Акашин – Акашман – Ашкенази – Аксельрод! Понял?

– Скорее нет, чем да...

– Ты в баню с ним сходи, тогда поймешь!

– Ходил, – соврал я. – Все на месте...

– Это тоже ничего не значит. Теперь за большие деньги можно пластическую операцию сделать. Вырезают лоскут с задницы и восстанавливают...

Кстати, в своем труде Медностружев доказывал, что обрезание – это не что иное, как древний способ зомбирования человека, ибо после операции обнажаются какие-то важные нервные окончания и происходит целенаправленное перевозбуждение каких-то участков мозга. В итоге подвергшийся такой операции человек превращается в биоробота и готов выполнять самые разнuzданные приказы самых мрачных закулисных сил, борющихся, как известно, за установление мирового господства. Правда, Медностружев никак не пояснял, почему такая же в точности операция, проделанная над мусульманином, аналогичных результатов не дает... Кроме того, в исследовании приводился подробнейший перечень писателей, имевших еврейские корни и даже корешки, причем наиболее зловердные из них были вывердены жирным. Просто вредные – полужирным. Замыкали список литераторы, всего-навсего женатые на еврейках и поэтому записанные обычным шрифтом.

– Да бросьте, Иван Иванович, я его семью знаю! Маму... – На этот раз я сказал правду.

– Семья тоже ничего не значит! Русские дуры до крапивного семени падки.

– Так ведь у евреев по матери национальность устанавливается! – возразил я.

– По матери... – Он снова почесал шрам. – Какой еще такой матери? Это все сказки для гоев. Один еврейский ген может такого наделать!

– Уверю вас, у Витька все до одного гены – русские!

– Все до одного! – передразнил Медностружев. – Что ж он тогда в писатели подался? Шел бы в цех или на стройку!

– А вы?

– У меня талант... и долг перед одураченным народом нашим.

– И у него – талант. Он замечательный роман написал!

– Как называется?

– «В чашу».

– «В чашу»... – Иван Иванович наморщился, соображая, из-за чего шрам вопросительно изогнулся. – «В чашу», говоришь? Неплохо. «В чашу»... Деревенский, чай, парнишка? Плотничал небось?

– А я вам о чем битый час толкую!

– Ну ладно, извини! Бдительность в нашем деле не помешает! Сам знаешь, как я с этим носатым перекаати-полем обмишурился! Обжегшись на молоке... – Он, вздохнув, снял очки и стал протирать стекла.

В это время дверь распахнулась и оттуда появился явно неудовлетворенный Чурменев. Судя по его нахмуренной решительности, он тоже отправился жаловаться, но не в партком, а, как и положено уважающему себя диссиденту, – в ЦК. Николай Николаевич выглянул в приемную, определяя объем предстоящей работы и взглядом приказывая Марии Павловне по возможности избавляться от попрошайек, не допуская их в кабинет. Увидев меня, он было родственному поманил к себе пальцем, но потом, заметив Медноструева, сделавшего плаксиво-требовательное лицо, распорядился:

– Зайдешь после Ивана Ивановича!

Но тут ему на глаза попался Ирискин, который опустил на колени томик Шолом-Алейхема и посмотрел на Горынина с тем же плаксиво-требовательным выражением, что и Медноструев, но еще присовокупив еле заметный, но вполне понятный опытному руководителю упрек за тысячелетние гонения и драму рассеяния. Николай Николаевич вздохнул и строго сказал мне:

– Зайдешь после Ивана Давидовича! – и, пропустив в кабинет Медноструева, закрыл дверь в полной уверенности, что таким соломоновым решением укрепил интернациональный дух писательского сообщества.

Разговором с Иваном Ивановичем я остался доволен: он и его заединщики если и не помогут Витьку, то мешать, по крайней мере, не будут. Теперь надо было решать вопрос с Ирискиным, ибо его сочувствие для достижения стоящих передо мной задач значило несколько не меньше, чем благорасположение юдобуйствующего Медноструева. И я уставился печальными очами на обложку Шолом-Алейхема, скрывавшую от меня лицо Ивана Давидовича. Кстати сказать, во внешности Ирискина не было ничего предосудительного, если не считать, что выглядел он моложе своих лет, укладывал волосы феном, носил вельветовые костюмы, а шею повязывал шелковым платком. Но тем не менее это был широко известный в литературных кругах семит – взглядов своих он не скрывал. По рукам ходил его рукописный труд «Темнота. Россия против евреев». Это была очевидная и многолетняя полемика с сочинением Медноструева «Тьма». Но Иван Давидович начинал свое исследование с гораздо более глубоких исторических пластов, можно сказать, с иудейских древностей. Опираясь на факты современной науки, он утверждал, что врожденный антисемитизм русские получили в наследство от своих предков скифов, как известно, участвовавших вместе с Навуходоносором в подлом разграблении Иерусалима в VI веке до нашей эры, закончившемся печально знаменитым «вавилонским пленением». Более того, Ирискин утверждал, что обрезание действительно возбуждает определенные мозговые центры, но как раз это и обеспечивает евреям особо интенсивное развитие интеллектуальных способностей и творческих задатков, что испокон веков служит предметом зоологической зависти медноструевых всех времен и народов. Почему такая же в точности операция, сделанная над мусульманином, не приводит к аналогичным результатам, Иван Давидович тоже умалчивал...

Внезапно Ирискин опустил книгу и посмотрел мне прямо в глаза с вызывающей грустью. Я напрягся, вспомнил издевательский хохот Анки во время нашего окончательного разговора и ответил ему взглядом, исполненным концентрированно-эсхатологической безысходности. Тогда он показал глазами на свободный стул рядом с собой. Я подсел.

– Вы, дружок, молодец! – тихо сказал он.

Букву «р» он иногда, волнуясь, не выговаривал, и получилось не дружок, а двужок. Этот дефект у него появился много лет назад, когда он был зверски избит за свои убеждения.

– Я давно за вами наблюдаю, – продолжал Иван Давидович. – Я знаю, как остроумно вы заставили этих крыс (у него получилось – квыс) издать вашу многострадальную книгу. Светлые стихи! И еще я от души благодарен, что вы помогаете этому талантливому юноше... Вы настоящий русский интеллигент! Не вам объяснять, как тяжело пробиться инородцу (иноводцу) в этой стране! Особенно в литературе, где сам воздух заражен великодержавным шовинизмом.

Даже светлый гений Пушкин писал: «Ко мне постучался презренный еврей...» Как вам это нравится?

– Кошмар, – ответил я с готовностью.

– Конечно, кошмар. Медноструев всюду кричит, будто чуть не половина Союза писателей... Ну, вы меня понимаете... О чем это говорит?

– О чем?

– Это говорит только о том, что даже политика государственного антисемитизма бесильна перед подлинным талантом. Согласны?

– Конечно! А как вы догадались, что Витек... Ну, вы меня понимаете...

– Я не догадывался – я рассуждал. Посудите сами, будет ли русский (вусский), который проходит, видите ли, всюду, как хозяин, наряжаться чучелом? Ему это не надо: я-то знаю, я был русским... Как, вы сказали, его фамилия?

– Акашин.

– И замечательно, что Акашин. Представляете, что бы ждало бедного парня (павня), будь он, как выразился этот монстр, Акашманом?

– Вы правы. Но вам я могу рассказать по секрету: на самом деле его отца звали Семен Акашман. Он был студентом медицинского факультета, а когда началась борьба с врачами-вредителями, испугался и уехал в таежный поселок Щимыти. Работал простым фельдшером, бедствовал...

– Неблагодарная страна! – вздохнул Ирискин.

– Потом женился на медсестре из здравпункта...

– Боже мой!

– Родился Виктор... А председателю сельсовета, сами понимаете, что – Акашин, что – Акашман...

– Троглодиты (твоглодиты)!

– Но я вас умоляю! Вы меня понимаете?

– Об этом можете не предупреждать. Как, вы сказали, называется его роман?

– «В чашу».

– «В чашу»... Чаша сия... Чаша страданий... Чаша терпения! О, она скоро переполнится! Вы меня понимаете?

– Конечно.

– Но пока надо быть очень осторожными! Эти крысы (квысы), этот Медноструев способны на все! Вы, кстати, ловко его надули! Я все слышал. Иначе с этими подонками просто нельзя... Еще не время. Но наша победная чаша впереди! Вы меня понимаете?

– Конечно... А как же вы сами?

– Что – я?.. Кто-то должен выйти к Голиафу с пращей! К тому же, дружочек (двужочек), у меня с Медноструевым давние счеты! Я расплачиваюсь за ошибки юности, когда я по трагическому недоразумению был русским...

Но в это время распахнулась дверь – из кабинета вышел полностью удовлетворенный Иван Иванович. Иван Давидович, не договорив фразы, поспешно вскочил, понимая, что если просьбу его научного и генетического оппонента удовлетворили, то по всем законам советского общежития ему тоже теперь ни в коем случае не откажут. Возле двери Иван Иванович и Иван Давидович поравнялись и, точно по команде, брезгливо отвернулись друг от друга, как от чего-то неприлично пахнущего. Дверь за Ирискиным закрылась, а Медноструев, уже покидая приемную, многозначительно глянул на меня и поднес к уху ладонь, точно в ней была телефонная трубка: мол, созвонимся... Я кивнул.

Для полной ясности я должен сообщить, что в молодости Иван Иванович и Иван Давидович были приятелями, подружились они, служа в одном полку, а потом, став студентами Литературного института, жили в общежитии в одной комнате: выпивали, читали друг другу

свои произведения, по-братски обменивались девушками, ругали космополитов и низкопоклонников. Как раз в ту пору развернулась кампания против безродных космополитов, и оба два Ивана громили, выступая на комсомольских собраниях, как бы помягче выразиться, «безродных гадюк, пригретых советским народом на своей широкой интернациональной груди». Это из выступления студента третьего курса Ивана Медноструева, которое было опубликовано в «Комсомольской правде». А вот слова из речи студента того же курса Ивана Ирискина, напечатанные в том же номере газеты: «Мой отец, чекист с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками, погибший при выполнении задания партии еще до моего рождения, любил говорить: «Сорную траву – под корень!» Так и надо поступать с этими врагами нашей Советской Родины!» Кстати, в ту пору начинающий литератор Иван Ирискин считал себя стопроцентным русским, гордо писал об этом в анкетах, носил отчество «Давыдович», но в графе «родители» напротив слова «отец» ставил прочерк, хотя доподлинно знал со слов матери, что отец его – отважный чекист, погибший вместе с наркомом Первомайским и командармом Тягиным в автомобильной катастрофе. Но об этом он, поддаваясь просьбам матери, никому пока не рассказывал.

И тут грянул гром: в газете «Правда» появилась статья, доказывавшая, что давняя гибель Тягина и Первомайского была тоже делом рук подпольных космополитов, внедривших в охрану командарма агента по имени Давид, имевшего к тому же очень подозрительную фамилию, еще, к сожалению, окончательно не установленную. Он-то и организовал падение автомобиля в Язу, но и сам в последний момент не сумел выпрыгнуть. Ирискин потребовал от матери объяснений, и она рассказала, что, работая стенографисткой у командарма Тягина, сошлась с присланным из НКВД черноглазым красавцем охранником, обещавшим на ней жениться сразу после выполнения важного секретного задания. Антонина Ирискина была уже на сносях, когда Давид в последний раз заезжал к ней и сказал, что через два дня операция закончится – и они запишутся, чтобы к рождению ребенка все было по закону. Больше она его не видела. Но несколько раз ее вызывали на допросы, выясняя какие-то подробности о подозрительном охраннике, а с работы на всякий случай уволили. Когда родился сын, Антонина от греха подальше назвала его Иваном и дала свою фамилию, благо брак так и не зарегистрировали. От отца осталось лишь слегка видоизмененное отчество. «Мама! – воскликнул потрясенный Ирискин. – Неужели ты никогда не догадывалась, кто папа по национальности?» – «Господь с тобой, сыночка! Я же комсомолкой была. И потом, он меня девушкой взял...»

Это известие произвело на впечатлительного молодого литератора сильнейшее воздействие: он чувствовал себя чуть ли не отцеубийцей, а тут, как нарочно, во время очередной пирушки в общежитии Медноструев стал с гордостью рассказывать собравшимся, что они с другом Ванькой еще покажут этим космополитам, почем фунт обрезаков, и что товарищ Сталин совершенно правильно собирается переселить всех евреев вместо Крыма туда, куда Моисей свой избранный народ не гонял! И тогда молодой и горячий Иван Давыдович (в ту пору еще Давыдович) со страшным криком: «Смерть антисемитам!» – вскочил и разбил о голову Медноструева бутылку водки. Бутылка была последняя, это и обусловило ту обстоятельство, с которой взрывающаяся компания отходила бедного Ирискина.

Очнулся он на следующий день у Склифосовского. Любопытно, что на соседней койке покоился его бывший друг Медноструев с глубоко пробитым черепом. Говорить Ивану Давыдовичу после нечеловеческих побоев было труднехонько, тогда он, взяв карандашный огрызок, вывел на тетрадном листке:

Медноструев, вы погромщик,
черносотенец и охотнорядец!

И через медсестру переправил на соседнюю койку. Приняв записку, Иван Иванович долго думал своей поврежденной головой, но потом все же нацарапал на том же тетрадном листке:

Ирискин, ты космополит,
низкопоклонник и жид пархатый!

Собственно, с этого тетрадного листочка и началась знаменитая переписка Медностружева и Ирискина, ходившая в многочисленных копиях по рукам и даже фрагментарно издававшаяся на Западе. Все, конечно, еще помнят эти захватывающие наш спертый советский дух письма, неизменно начинавшиеся обращением: «Глубоко неуважаемый г-н Медноструев!» и «Горячо презируемый г-н Ирискин!». Но главная схватка началась гораздо позже, когда потаенные труды этих антагонистов увидели все-таки свет. Именно тогда произошли знаменитые события, кончившиеся громким судебным процессом. Дело в том, что...

– Заходи! – поманил меня Горынин, дружески выпроваживая из кабинета светящегося от радости Ивана Давидовича, который, перед тем как покинуть приемную, незаметно кивнул мне и сделал такое движение пальцем, будто вращает телефонный диск.

Входя в кабинет, я с удовлетворением подумал, что, кажется, мне благополучно удалось, как хитроумному Улиссу, сделать невозможное – пропихнуть моего Витька между Сциллой и Харибдой...

12. За зипунами

Кабинет Николая Николаевича был похож на запасник краеведческого музея. Такое впечатление складывалось из-за огромного количества подарков и сувениров, накопившихся в правлении за многие годы существования Союза писателей. С потолка до пола теснились специальные стеллажи, уставленные самой невообразимой утварью, ибо главный принцип торжественного подношения – не повторить предшественников. Рассказывают, как однажды руководитель молдавских литераторов, опаздывавший к открытию писательского съезда и не позаботившийся о том, чтобы заранее запастись сувениром, по пути с вокзала остановил такси возле Мосторга и второпях купил то, что бросилось в глаза. А в глаза ему бросилась полутораметровая фигура сталева, вытиравшего со лба трудовой пот. Когда он, сгибаясь под тяжестью сталева, ввалился в комнату президиума, нервные сотрудники правления закричали, что, мол, как раз сейчас вручает приветственный сувенир руководитель Мелитопольской писательской организации, а за ним – очередь молдаван. Вынеся из-закулис свой подарок съезду, словно ребенка, которого, несмотря на изрядный возраст, никак не могут отучить от рук, молдаванин обомлел: мелитопольский коллега передавал в руки Фадееву точно такого же фарфорового сталева. Сидевший в президиуме Сталин усмехнулся в прокуренные до желтизны усы и заметил, что подражание – самый большой грех в советской литературе. Молдаванину сделалось дурно, а вызванная карета «скорой помощи» констатировала гибель от разрыва сердца...

Но это, как говорится, случай единичный. В основном дарители проявляли выдумку и изобретательность. На стеллажах можно было увидеть портрет основоположника соцреализма Максима Горького, выполненный из рисовых зерен, – от китайских собратьев по перу, макет крейсера «Аврора», вырезанный из моржового, кажется, бивня, – от Чукотской писательской организации, сноп пшеницы, обвитый кумачовой лентой со стихами Шевченко, – от украинских письменников, чучело огромного угря, подаренное эстонскими литераторами, большое серебряное блюдо с грузинской чеканкой... Имелась даже такая уникальная вещь, как преподнесенный якутскими писателями бюст Маяковского, изготовленный из арктического льда и хранящийся в специальном холодильнике «Морозко» рядом с бутылками боржоми... Был и самаркандский коврик с портретом Маркса. Забегая вперед, сообщу: когда после девяносто первого года Союз писателей раскололся на два враждебных лагеря – демократический и недоумевающий, – произошел также раздел подарочного имущества. Коврик с Марксом достался писателям-демократам, и они положили его прямо перед дверью правления так, чтобы каждый входящий литератор в буквальном смысле вытирал об основоположника научного коммунизма ноги... Но в тот момент, когда я входил в кабинет Горынина, совместной фантазии Кафки и Борхеса при участии Гофмана не хватило бы, чтобы вообразить себе этот коврик лежащим перед порогом...

– Проходи, родственничек! – пригласил Николай Николаевич и уселся за свой знаменитый стол.

Об этом историческом столе, который в писательских кругах именовали саркофагом, тоже следует сказать несколько слов. Считалось, что в его бездонных ящиках хранилось множество так называемых трудных рукописей, зарубленных злой цензурой. Забегая вперед, доложу вам, что победившие демократы обнаружили там ворох незавизированных заявлений на матпомощь, полсотни пустых трубочек из-под валидола и три пыльные рукописи, составившие впоследствии славу постсоветской литературы...

И последний штрих: на приставной тумбочке теснилось полдюжины телефонов, а чуть особняком стоял массивный белый аппарат со снопастым советским гербом на диске – знаменитая «вертушка».

– Что ж ты даже рожей не пошевелишь, – улыбаясь, спросил меня Горынин, – или думаешь, я по-родственному тебе и так дам?

Я спохватился и восстановил на лице необходимое для такого случая плаксиво-потребительское выражение.

– То-то, – кивнул Николай Николаевич. – Проси!

– Да вот зашел...

– Вижу! Квартира у тебя есть. На машину денег у тебя нет. Книга у тебя недавно вышла. Вызовов за границу тебе не присылали. Что будешь просить – матпомощь или путевку в Перепискино?

– Матпомощь.

– Матпомощь тебе в этом году уже выдавали. Два раза.

Немудрено, подумал я, что Николай Николаевич после «Прогрессивки» так ничего и не написал, если он держит в голове, кто именно и по сколько раз получил материальную помощь. А ведь у него только членов Союза десять тысяч, не считая попрошайстой молодежи! Какой уж тут роман!

– Не себе прошу, – грустно сообщил я.

– Гуцулу своему, что ли? Видел тебя с ним в ресторане. Он бы в заводской столовой питался, тогда и попрошайничать не надо.

– Мы отмечали окончание работы над романом.

– Ишь ты! Я когда «Прогрессивку» закончил, купил четвертинку, колбаски «любительской» и с Серафимой Петровной, Анкиной матерью, отпраздновал. Кстати, скажи-ка мне, дружок ситный, почто от Анки утек?

– Не утекал я, – ответил я совершенно искренне. – Это она утекла...

– Хорошо, что не врешь! Просто не знаю, что с ней делать! Ненадежная какая-то выросла. А учили ведь только хорошему. Да что говорить: хотели пулеметчицу, а получилась переметчица!

Горынин вдруг замолк, пораженный художественной точностью и народной меткостью своей случайной формулировки. Он с ревнивой подозрительностью глянул на меня, но я сделал вид, будто совершенно не заметил его выдающегося словотворческого открытия. Тогда Горынин с чувством облегчения вынул из настольного прибора, выполненного в виде пусковой установки, авторучку в форме баллистической ракеты (подарок военных) и записал удачное словосочетание на перекидном календаре.

– О чем мы говорили? – Он снова посмотрел на меня.

– Об Анке.

– Так вот, продолжаю свою мысль: просто горе! С тобой разбежалась. У друзей сыновья подросли. Ни хрена! Только зря друзей пообижал. Журавленко до сих пор на меня зуб точит. А сейчас и вообще с этим выпендрилой Чурменяевым спуталась... Стыдно людям в глаза смотреть! Может, у тебя какой хороший мужичишка на примете есть? Ты уж по-родственному...

– Нет, – насутился я.

– Ну не подумал! Извини. Совсем зачерствел тут с этими попрошайками...

– А как она? – спросил я.

– Нормально. Что ей сделается? Тут мою «Прогрессивку» в Корею издали, хотел на даче ванную переоборудовать. Не-ет... Выпросила у меня лисью шубу. Лиса! Вся в мать.

– Николай Николаевич, – тоскливо вернулся я к теме своего посещения. – А нельзя Виктору из фонда помощи молодым подкинуть? Большой талант.

– Как роман-то называется?

– «В чашу», – ответил я, доставая из портфеля папку.

– Опять небось чернуха какая-нибудь? Когда Родину будем славить? Хватит с нас костожовщины!

– Это совсем другое. Это как раз то, что вам нужно! – сообщил я, протягивая роман. Тем временем зазвонил телефон с гербом.

– Аллю! Добренький день!.. А где ж мне быть? На посту... Да какая там эпопея! Четвертый год в отпуск не ходил. Слушаю внимательно!

Судя по тому, какая счастливая готовность отразилась на горынинском лице, – звонили свысока.

– Чурменяев? Только что от меня вышел. Прямо Гоголем!.. Не в переносном – в буквальном смысле! Меня в восемнадцати странах издали – я о себе никогда такого не воображал. Что?.. Да читал я эту «Женщину в кресле». Бред сивой кобылы! Что?.. У меня студенты в Литинституте на первом курсе заковыристее пишут... На Западе по-другому думают? На то они и Запад. От слова «западня»! – молвив это, Горынин снова радостно насторожился лицом, схватил ручку-ракету и чиркнул на перекидном календаре. – Ну, конечно... Могут «Бейкеровку» дать – им ведь чем хуже, тем лучше... Ну!.. Машину приходил без очереди просить. Я его спрашиваю: «Когда Родину будем славить?» Ржет! Говорит, когда он «Бейкеровку» получит, к нему журналисты со всего мира съедутся, а он свои «Жигули» разбил... Да, так и сказал: на Западе не поймут, когда узнают, что писатель такого ранга вынужден ездить на битой машине... Конечно, отказал... Ага, значит, и вам уже наябедничал... Что? Дать машину?! Как скажете...

Николай Николаевич, вздохнув, снова вынул из пусковой установки ручку, вычеркнул чью-то фамилию в лежавшем перед ним списке и вцарапал Чурменяева.

– Есть! Готово! – доложил он в трубку. – Ну почему другой молодежи у нас нет?.. Есть! Вот у меня сейчас сидит... этот... (Горынин нервно показал пальцем на папку. Я подал ему.) Вот... Акашин Виктор. Работяга. И роман называется хорошо – «В чашу»... Не-ет... Я тоже сначала подумал, но потом начал читать – не оторвусь. Настоящая полнокровная проза. Жизнеутверждающая!.. А как же! Конечно, поможем... Дочь? А что дочь? Растет, то есть выросла уже. Барышня... Что? Клевета... Ну, конечно... Квартиры распределяем – вот и пошло разное вранье и клеветы. Просто руки опускаются... Да какой отпуск?! Они как дети – ни на минуту без присмотра оставлять нельзя!.. Спасибо! До свидания!

Николай Николаевич положил трубку. Вытер платком вспотевший лоб. И выругался:

– ...мать! Специалисты!.. Ни хрена они там в литературе не понимают, а тоже лезут. Плохо все это кончится! Очень плохо. А попробуй поперек скажи – переедут и не заметят! Ведь что обидно: Бог талантом наградил, так я весь свой талант в чужое дерьмо и зарыл! А сколько мог бы написать! Не-ет, сажу – распределяю... Думаешь, ценят? Хрен в тыкву! На полтинник вместо орленка, как подачку, трудовуху бросили! (В переводе с номенклатурного на общечеловеческий это означало, что к пятидесятилетнему юбилею Николаю Николаевичу вместо ордена Ленина дали всего-навсего Трудового Красного Знамени, из-за чего он даже прихворнул сердцем.)

– Мерзавцы, – кивнул я.

– А что мне эти цапки? – подкрепившись таблеткой валидола, продолжал Горынин. – Ну, вынесут их впереди меня на подушечках. Одной подушечкой больше, одной меньше – какая разница! Остаются только дети и книги. С Анкой – сам видишь. А книги? Прочитает «Прогрессивку» лет через пятьдесят какой-нибудь ихний Белинский и закричит: «А где остальное?» А нету остального! Остальное здесь! – Он хряснул рукой по столу. – Все мои «Бейкеры» здесь... В этом «саркофаге» проклятом! Они думают, это для них «саркофаг»! Это для моего таланта – могила!

– Ну и пошлите все к чертовой матери! – посоветовал я.

– И пошлю. Вот «гертруду» к шестидесяти получу – и пошлю! Ладно, давай заявление. О чем, говоришь, роман-то у твоего дружка?

– О жизни...

- О жизни – это хорошо! И название неплохое – с подзадоринкой! Не модернист, часом?
- Нет, он с Урала.

– С Урала иной раз такие модернисты выскакивают, что нашим московским сто очков вперед дадут. Ладно, беру! – Он сунул папку в стол и, снова взяв ручку-ракету, стал внимательно читать заявление.

Как раз в тот момент, когда он налагал резолюцию «Выдать» и выводил свою подпись, такую витиеватую, что подделать ее мог только изощренный каллиграф, и то после многодневной тренировки, дверь приоткрылась и в кабинет вошла Анка. На ней были безумно модные в ту пору джинсы-стрейч, бескомпромиссно обтягивавшие ее длинные ноги, замшевая курточка с бахромой и полупрозрачная блузка, под которой самостоятельно жила, не соблюдаемая бюстгальтером, грудь. Волосы она теперь, оказывается, собирала в пучок, скрепленный какой-то оплеткой из разноцветных кожаных ремешков.

- Привет! – сказала она, абсолютно не удивившись встрече со мной.

Анка подпорхнула к столу и, наклонившись, поцеловала Николая Николаевича в макушку, при этом как-то совсем по-кордебалетному откинув ножку. Это уже – персонально для меня. Лицо Горынина из строго-сосредоточенного тут же сделалось нежно-беспомощным. Потом опять – строго-сосредоточенным. Потом опять – нежно-беспомощным. Наконец – нежно-строго-сосредоточенно-беспомощным.

- Чего явилась-то? – спросил он.

- Та-ак, по пути. Чурменяев пообедать пригласил.

– Ох, Анна! Опять народ языки чесать будет... Там, – он показал пальцем вверх, – уже знают.

– Ну и пусть знают. Я, может, замуж за него пойду! – сказала она и поглядела в мою сторону.

- Ага... Ты замуж пойдешь, а он за границу сбежит!

- А я с ним!

- Вот и ехала бы с Журавленко!

- Журавленко – извращенец: его только Генри Миллер возбуждает.

- Ты что несешь! Хорошо, здесь все свои...

В это время снова раздался звонок – обыкновенного телефона.

– Алло... Привет от старых штиблет... – развязно отозвался Горынин. – Только что разговаривал с твоим шефом. Совсем у них там из-за этого «Бейкера» крыша съехала... Какая уж тут контрпропаганда, если Чурменяев вам позвонил и вы перед ним расстилаетесь. Значит, Горынин – зверь, а в ЦК добрые дяди с маковыми плюшками! (Николай Николаевич снова что-то черкнул на календаре.) Тогда нечего с этой диссидентурой бороться, берите их к себе на работу – и дело с концом! Что?.. Да объяснял – не понимает... Ну, я же машины, как курица яйца, не несу, придется у хорошего человека оттяпать. А он тоже к вам побежит. Вникаешь?..

Судя по интонации и расслабленным мышцам лица, теперь он говорил с ровней, скорее всего с Журавленко. Анка подошла ко мне, положила на мою грудь руку, наманикюренными ноготками осторожно залезла за край рубашки и пощекотала кожу – меня тряхнуло, как током.

- Это ты звонил?

- Да.

- Зачем?

- Не знаю...

- Не знаешь? – Она наморщила лоб и очень внимательно посмотрела мне в глаза.

У нее была странная манера смотреть, нет, вглядываться в глаза, точно она хотела прочесть на роговице какую-то сделанную малюсенькими буквами надпись – такие бывают на мелких иностранных монетках.

- Я больше не буду, – пообещал я.
- Не надо... И верни мне, пожалуйста, часы!
- Верну... Потом. У меня сейчас их с собой нет.
- Хорошо – потом... Но обязательно.
- Они тебе очень нужны?
- Очень.

– Ты не ошибаешься?

– Нет. Я никогда не ошибаюсь. Я просто быстро устаю от правильного выбора. Жалко, что теперь нет монастырей, я бы ушла... Нам с тобой нужно встретиться снова. Лет через пять. Я устану от своей правоты и буду тихая, верная и нежная. Ты хочешь?

– Хочу. А пораньше нельзя?

– Вряд ли... Ты меня дождешься?

– Не знаю...

– Считай, что я ушла на фронт. И я могу погибнуть. Но я обещаю тебе вернуться. Договорились?

– Да.

Николай Николаевич закончил разговор и положил трубку.

– Хорошая вы пара! – сказал он, полюбовавшись на нас. – На черта, Нюрка, тебе этот выпендрёжник Чурменяев?!

– Для усталости.

– Разве что... Ладно. – Он протянул мне листок с завизированным заявлением. – На, корми своего гения «котлетами ЦДЛ».

– Ты завел гения? – оживилась Анка.

– Да, пушистый такой...

– А где он?

– Вон сидит. – Я кивнул в окно.

Витек сидел на лавочке в своей дохе и, отложив кубик Рубика, целился камнем в грев-шуюся на солнце кошку.

– Смешной, – улыбнулась она. – Это ты его так нарядил?

– Я.

– Забавно. Познакомь!

– Нечего! – разозлился Николай Николаевич. – Пришла обедать с Чурменяевым – бедай! Нечего талантливой молодежи голову морочить! А ты давай, – он махнул мне рукой, – иди в кассу, а то на обед закроется. Пятнадцать минут осталось!

– А он вправду гений? – спросила Анка.

– Скоро узнаешь, – ответил я и вышел из кабинета.

13. Как сделать верлибр

Кассирша, толстая дама с пепельной прической, напоминавшей огромное осиное гнездо, уже закрывала стальную дверь, чтобы идти на обед.

– Какая у вас сегодня замечательная прическа! – запыхавшись, выкрикнул я.

– Да? – удивилась она и начала отпирать кассу.

А вот если бы я принялся возмущаться, что до обеда осталось еще целых пятнадцать минут, она бы ни за что дверь отпирать не стала, денег бы мне не выплатила да еще обозвала бы дармоедом, который, вместо того чтобы у станка стоять, прикидывается писателем... Кстати, это интуитивное умение сказать человеку именно то, чего ему больше всего хочется услышать, у меня с детства. Сам не знаю, как это получается. Просто не могу огорчить человека. Ей-богу! В молодости у меня был литературный товарищ по фамилии Неонилин, писавший исключительно венки сонетов. Однажды комиссия по работе с молодыми литераторами отправила нас в командировку – подзаработать. Ездили мы по городам, весям и чумам Коми, ели у гостеприимных геологов строганину, выступали перед трудящимися. Я, правда, старался в основном рассказывать свежие столичные анекдоты, а зануда Неонилин норовил каждый раз прочитать от начала до конца венки сонетов, причем один и тот же... К концу поездки мы возненавидели друг друга: я – его «венки», а он – мои анекдоты. Чтобы как-то разнообразить выступления, мы менялись ролями: я, представившись публике Неонилиным, читал его венок сонетов, который уже знал наизусть, а он, выдавая себя за меня, рассказывал трудящимся мои анекдоты...

Но эту историю я вспомнил по другому поводу. Дело в том, что возвращались в Москву мы уже под самый Новый год, когда авиалинии перегружены, и прочно застряли в Сыктывкаре – билетов не было. Мы двое суток спали в зале ожидания, и я понял: выход только один – охмурить толстых теток-кассирш, у которых всегда припрятаны билеты для отдельных хороших людей. Но мы к этой категории не относились, потому что деньги должны были получить только в Москве, а в тот момент потратили последние командировочные и были откровенно бедны. Но теток я все-таки охмурил: тонкой лестью и душевными разговорами. Это было несложно. Продавцы и кассиры – самые одинокие в мире люди! Когда мы уже летели в столицу, Неонилин вдруг сообщил мне, что всю поездку внимательно наблюдал за мной и сделал любопытный вывод: в каждой неординарной ситуации я, оказывается, руководствовался рекомендациями знаменитого Карнеги. «А кто это?» – спросил я совершенно искренне. «Ты не читал Карнеги?» – оторопел Неонилин. «Нет». – «Шутишь?! Если человек хочет добиться успеха, он обязан знать Карнеги! Ты меня просто разыгрываешь!» – «Ей-богу, даже в руках не держал!» – признался я. «Не верю!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.